Военное детство

Е. ВОРОБЬЁВ

ГДЕ ЭТА УЛИЦА, ГДЕ ЭТОТ ДОМ



Где эта улица, где этот дом
Евгений Захарович Воробьев

Аннотация
Евгений Воробьёв. Где эта улица, где этот дом. Рассказы
Нет ничего дороже
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Наследство
Где эта улица, где этот дом
Новоселье. (из цикла «Служили два друга»)
Второгодник

Аннотация

Люди остаются людьми даже на войне, под давлением постоянного риска и страха. Они готовы сражаться до последней капли крови, но, когда случается минута передышки, успевают и новый дом для скворцов построить, и пересдать математику за выпускной класс.

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Для среднего школьного возраста.



Евгений Воробьёв
Где эта улица, где этот дом
Рассказы

© Воробьёв Е. З., наследники, 1952
© Верейский О. Г., наследники, рисунки, 1952
© Составление, оформление серии. АО «Издательство «Детская литература», 2020

* * *

Нет ничего дороже



1

Столь маленькой станции больше подошло бы название разъезда или полустанка. Курьерский поезд высокомерно пролетал мимо, почти не снижая хода на стрелках, не снисходя к этой глуши. И даже неторопливый почтовый поезд задерживался здесь минуты на две, не больше.

Левашов не успел хорошенько осмотреться, надеть кожанку, закурить, как с ним уже поравнялся хвост поезда. На ступеньке последнего вагона стоял скучающий кондуктор. Он держал в руке такой обтрепанный флажок, что нельзя было понять, какого же он цвета — желтого или красного. В лицо ударили крошки шлака и песчинки. Следом за поездом, не отставая от него, кружилась своя маленькая метель, пахнущая перегретыми буксами и каменноугольной смолой.

Вокзалом служил пассажирский вагон, снятый с колес. Двери были на уровне земли, без ступенек. Холмы, заросшие крапивой и бурьяном, указывали место бывшей станционной постройки.

С севера, вплотную к станции, подступал лес, и по кромке его, по соседству с железнодорожным

полотном, шел большак. Левее, за лесом, лежала деревня, названия которой Левашов не помнил.

Несколько женщин в платках, военный с зеленым сундучком, старик в несвоевременном ватнике и девушка с гитарой торопливо, держась вместе, зашагали по большаку налево.

Левашов ушел по шпалам в противоположную сторону. Насколько он помнил, ему следовало дойти до семафора, перейти через рельсы и свернуть на проселок, идущий полем. Он несколько раз оглядывался на группу удаляющихся пассажиров. У него попутчиков не нашлось…

Перед отъездом из Москвы все было ясно и просто. Давно, еще во время войны, он клятвенно обещал себе, если останется жив, проведать Большие Нитяжи́, поклониться Алексею Скорнякову.

«Заодно отдохну как следует, — подбадривал он себя, стоя на перроне Белорусского вокзала. — Не то что в городе. Даже в Петровском парке пыль. На водной станции „Динамо“ к воде не протолкаться. А там, в Нитяжах, — луга, леса, Днепр рукой подать. Лучше всякой дачи».

Он сел в поезд с сознанием, что выполняет давнишний долг, и ему было лестно думать, что он умеет держать слово, даже если оно дано самому себе. Но сейчас собственная решимость, которая

еще недавно его умиляла, представлялась ребячеством.

Безлюдный проселок то нырял в лес, где уже чувствовалось приближение вечера, то вновь стремился в поле. Нужно отшагать еще не меньше семи километров, прежде чем он доберется до этих Нитяжей.

Им овладело беспокойство, знакомое одинокому путнику, который на исходе дня не знает, под какой крышей доведется ему ночевать.

Проселочная дорога, по которой он шагал сейчас, была хорошо памятна. Почему же она кажется незнакомой? И Левашов понял, откуда идет это ощущение новизны — от тишины вокруг, которая в те дни здесь, на переднем крае, если и наступала, то была ненадежной, недолговечной.

За леском показались Малые Нитяжи, но Левашов прошел мимо не останавливаясь: нетерпение подгоняло его.

Наверно, и имени Алексея Скорнякова никто не слышал в этих местах. Но кого же винить? Все, что он, Левашов, успел тогда сделать, — это написать чернильным карандашом на бумажке имя, фамилию, звание и еще несколько слов, которые пишут в таких случаях. Бумажку положили под каску, второпях произвели салют, подняв авто-

маты к пасмурному небу, и бросились догонять ушедших вперед товарищей. Атака уже началась, и траурный салют прозвучал в разноголосице боя, как деловитый залп по врагу. Потом начался дождь, и Левашову еще тогда отчетливо представилась размокшая бумажка в чернильных подтеках, расплывшихся настолько, что и разобрать ничего нельзя…

Вот и речонка Нитяжка. Перед мостом, на обочине дороги, стоит шест с синей табличкой «Большие Нитяжи», оставленный армейскими дорожниками. Левашов помнил на этом месте желтую немецкую табличку, на которой название деревни было выписано витиеватыми готическими буквами.

Он перешел через мостик, который сейчас, в августе, был чересчур солидным для худосочной речонки, лениво текущей в пологих берегах. Сумерки перекрасили траву в серый цвет. Женщина, полоскавшая серое белье, с усилием распрямила спину и проводила Левашова долгим взглядом.

Придорожные ветлы, знакомый поворот дороги, и за ним, на бугре, должна быть могила Алексея Скорнякова. Найдет ли он это место? Не сровнялся ли безвестный холмик с землей?

Он увидел ограду, за ней обелиск со звездочкой на точеном шпиле и холмик, лиловый от колокольчиков.

Он подбежал ближе и прочел на дощечке: «Гвардии старшина Алексей Скорняков. Пал смертью храбрых в боях за Родину 26 июня 1944 года». Все, что Левашов второпях написал на бумажке, лаконичная фраза, в которую нужно было вместить всю скорбь.

Левашов постоял, обнажив голову, затем опустился на траву. Наверно, он просидел долго — не могло же так быстро стемнеть.

Председателя колхоза он нашел на краю деревни, в блиндаже, уцелевшем со времени войны. Шаткий огонек каганца в снарядном колпачке выхватывал из темноты человека, сидящего за столиком, кусок бревенчатой стены и карту на ней.

— Мне председателя правления колхоза.

— А вам по какому делу? — спросил человек за столиком, оторвавшись от бумаг. — Ну, я председатель. А вы небось уполномоченный? От какой организации?

— От самого себя.

Председатель сдвинул брови, стараясь в темноте разглядеть прибывшего.

— Приехал погостить. Воевал в этих местах. Товарищ тут похоронен.

Левашов показал рукой в сторону, откуда пришел.

— Гвардии старшина Алексей Скорняков?

— Да. Алёша Скорняков…

— Уважаем твоего товарища как героя. А что за человек, в подробностях никто не знает. Будем знакомы. Иван Лукьянович.

— Левашов.

— Та-ак… Значит, не уполномоченный? Чего же ты, друг, там у входа хоронишься? Шагай смелее к свету, садись. А я, признаться, думал, опять меня по какой-нибудь статье обследовать собрались.

И в полутьме видна была его улыбка. Когда Иван Лукьянович убедился, что перед ним не официальное лицо, он сразу повеселел и перешел на «ты».

— Та-ак… А ты из каких же мест будешь? Из самой Москвы? Газетки свежей не прихватил?

— Не догадался.

— Жаль, жаль. Я от международного положения на три дня отстал. Известное дело — деревня. Как там, короля-то из Италии уже выселили?

— Не в курсе.

Иван Лукьянович укоризненно посмотрел на

Левашова: «Что же ты, братец, так оплошал?»

Длинные, прямые, чуть сросшиеся брови и такие же прямые усы перечеркивали лицо Ивана Лукьяновича двумя черными линиями. Когда он улыбался, то сразу молодел, как все люди с хорошими зубами. Под латаной гимнастеркой угадывались мощные плечи и грудь. Еще когда Левашов поздоровался, он почувствовал, что эти большие руки налиты железной силой, как у лесоруба или кузнеца.

Широкоплечая тень ложилась на стену рядом с картой. Теперь можно было разглядеть, что это карта Южной Америки. Где-то в окрестностях Рио-де-Жанейро торчал гвоздь, и на нем висела армейская фляга.

На лежанке у противоположной стены спала или притворялась спящей женщина, а в изголовье, поперек лежанки, спали в обнимку двое детей.

Иван Лукьянович был огорчен тем, что негде устроить гостя и придется отправить его на жительство в школу. От ужина Левашов отказался. Иван Лукьянович вызвался проводить гостя и вышел, хромая, из-за столика. В руке у него оказалась палка.

— Зачем же беспокоиться? Доберусь как-ни-

будь.

— Думаешь, калека? — обиделся Иван Лукьянович. — Да я со своим посохом бегом бегаю. Не всюду на таратайке проедешь.

— Когда думаете отсюда выселяться? — спросил Левашов, на ощупь поднимаясь из блиндажа по осыпающимся ступеням.

— Строят мужички себе дома, строят. Каждый день лес возим. Целый обоз отрядили. Завтра услышите. Как дятлы, топорами стучат.

— А сами когда переезжаете?

— Пусть сперва народ отстроится. Раз начальство — значит, должен очередь уступать. Примеряюсь самым последним переехать. Я ведь хитрый! Самое-то большое новоселье будет напоследок. Праздник какой!..

«А ведь и в самом деле праздник, — подумал Левашов, шагая в темноте за Иваном Лукьяновичем. — Боюсь только, что забудет председатель тот день отпраздновать».

Стемнело так, что избы смутно угадывались и не видно было верхушки колодезного журавля, хотя прошли мимо са́мого колодца.

Заспанная сторожиха встретила постояльца без раздражения, но и не особенно приветливо.

— Может, Никитична, устроишь гостя в ком-

нату Елены Климентьевны? — спросил Иван Лукьянович. — Вернется она только к занятиям…

— Лучше я где-нибудь в классе переночую.

— Конечно, в классе, — поспешно сказала Никитична. Ей не хотелось пускать чужого человека в комнату Елены Климентьевны, а потому особенно понравилась непритязательность приезжего. — А чем плохо в классе? Полы у нас мытые, крашеные. Постелю молодцу плащ-палатку, подушку найду, матрац свежим сеном набью.

— Совсем хорошо!

— Уполномоченный? — спросила Никитична, разжигая лампу, когда Иван Лукьянович ушел. — У нас тут даже целыми комиссиями ночуют. Только окурками не разбрасывайся — еще пожару наделаешь. Уполномоченные всегда так дымят, будто у них и дел других нету… Ах, сам от себя? Ну тогда тем более отсыпайся.

2

Проснулся Левашов от скрипа открываемой двери. На пороге, опершись на палку, стоял Иван Лукьянович.

— Извиняюсь за раннюю побудку. Известно: с петухами встаем, с курами спать ложимся. Деревня! А Никитична уже самовар сочинила. Молоко там, оладьи, яички и прочие припасы питания.

Левашов торопливо вскочил на ноги, оделся, побрился. Теперь, после бритья, он выглядел лет двадцати шести, не более. Румянец во всю щеку, и в то же время у глаз, у рта ясно обозначались морщины и на висках белела седина, будто несмытая мыльная пена, засохшая после бритья.

Левашов чаевничал, а Иван Лукьянович потчевал его так, будто хозяйничал у себя дома.

Иван Лукьянович, видимо, соскучился по собеседнику. Сперва он повел речь о подкормке льна-долгунца минеральными удобрениями, затем подробно рассказал о том, как его эвакуировали после ранения с поля боя («перед самой границей, не пришлось на фашистское логово посмотреть»), затем помянул недобрым словом

тракториста Жилкина за огрехи и, как бы подводя итог всему сказанному, с силой ударил ребром мощной ладони по столу:

— Что ни говори, но этот Франко досидится там у себя в Испании. Он бы нам тут попался, где-нибудь в лесу! Вспомнили бы ему Голубую дивизию! Быстро бы его партизаны причесали. До первой березы и довели бы только. Как предателя! С конфискацией всего имущества…

После завтрака Левашов вышел на крыльцо и увидел на ступеньках двух мальчиков.

Белоголовый, голубоглазый, плечистый мальчик уставился на Левашова, открыв рот. Он был в домотканой рубахе, не знающей пуговиц, так что виднелись грудь и коричневый живот. Одна штанина спускалась почти до щиколотки, другая, с бахромой внизу, едва закрывала колено. Он с нетерпением ждал появления Левашова и сейчас вперил в него восхищенный взгляд.

Второй был чуть повыше ростом, худощав. Из-под пилотки торчал темный чуб. Все на нем было не по размеру: пилотка лежала на оттопыренных ушах, рукава у гимнастерки были непомерно длинны, раструбы галифе приходились ниже колен. Он смотрел на Левашова со сдержанным любопытством, к которому было примешано

недоверие. «Нужно еще поглядеть, что за человек», — как бы говорили его настороженные, совсем взрослые глаза.

— Здоро́во, герои!

— Здравствуйте, дяденька! — торопливо ответил белоголовый.

— Ну, здоро́во, — не спеша и будто нехотя отозвался мальчик в пилотке.

— Кто же из вас старше?

— А мы одногодки.

— Сколько же годков приходится на двоих? Если оптом считать?

— С тридцать пятого года… — сообщил белоголовый.

— Таблицу умножения проходили? Двенадцать на два — вот и выйдет оптом, — сказал мальчик в пилотке.



Он не любил, когда с ним шутили.

— А звать вас как?

— Санькой.

— Павел Ильич, — отрекомендовался мальчик в пилотке. И тут же деловито осведомился, указав подбородком на ордена: — Тот, который с краю, Отечественной войны орден?

— Так точно.

— Какой же степени?

— Второй.

— Лучше бы первой. Первая степень старше.

— Что же теперь делать, Павел Ильич? Не заслужил больше.

— Надо было лучше стараться, — наставительно сказал Павел Ильич.

— В другой раз буду знать, — ответил Левашов серьезно. — Ты, Павел Ильич, не очень меня ругай, а лучше скажи, где у вас тут самое знаменитое место для купания?

— Мы вам, дяденька, пойдем покажем, — вызвался Санька.

— Ради компании, так и быть, сходим, — сказал Павел Ильич. — Заодно черники наберу.

Резким движением локтей он поправил сползающие штаны и пошел вперед.

Теперь, при свете дня, Левашов увидел всю

деревню из края в край. Избы поредели и стояли, отделенные друг от друга большими пустырями. Между старыми избами поднимались вновь отстроенные; свежие бревна еще не всюду утратили свою белизну. Некоторые избы были подведены под крышу, на других усадьбах стояли срубы — повыше, пониже. Печи сгоревших домов были разобраны, кирпич вновь пошел в дело. И только у одной закопченной печи, стоящей под открытым небом, хлопотала хозяйка. И так она привычно орудовала ухватом и переставляла горшки на загнетке, словно стряпала у себя в избе. Недалеко от печи, под конвоем обугленных яблонь, ржавел немецкий танк.

Павел Ильич торопливо спустился тут же, по соседству, в подвал сгоревшего дома. Пепелище было огорожено плетнем, на котором сохло цветастое белье и глиняные горшки, насаженные на колья. Как ни в чем не бывало на пустырь вела калитка.

Павел Ильич появился такой же степенный, с краюшкой хлеба и с небольшим латунным ведерком, сделанным из снарядного стакана.

«Калибр сто пять, немецкий», — отметил про себя Левашов.

— Пашутка! — закричала вдогонку простоволо-

сая женщина.

Ее голова показалась над землей из подвальной двери.

Павел Ильич сделал вид, что не слышит.

— Пашутка-а-а! Может, сперва поснедаешь?

— Успею. Не грудной!..

Он был явно недоволен этим «Пашуткой», прозвучавшим так некстати в присутствии приезжего…

Война напоминала о себе на каждом шагу.

Перед высокими порогами изб в качестве приступок лежали снарядные ящики. На санитарной повозке с высокими колесами, явно немецкого происхождения, провезли в кузницу плуг. Прошла баба с ведрами на коромысле — под ведра были приспособлены медные снарядные стаканы.

«Калибр сто пятьдесят два. Наш», — определил Левашов.

Впервые он шел днем по этой деревне не хоронясь, не пригибаясь, ничего не опасаясь, и счастливое ощущение безопасности овладело всем его существом.

Ныне Большие Нитяжи вытянулись дальше прежней своей околицы, туда, где на восточном скате холма находился когда-то командный

пункт дивизии. Разве думали саперы, мастерившие блиндажи в пять накатов, что после войны в них будут жить погорельцы!

Еще с холма показался за перелеском Днепр. Близость его заставила невольно ускорить шаг. Скоро их отделял от реки только просторный луг, но босоногие проводники Левашова пошли не напрямик, а в обход.

По краю луга тянулась колючая проволока. Дорога заросла настолько, что едва угадывалась. Когда-то она шла лугом к мосту; теперь из воды торчали только сваи, похожие на черные огарки.

Днепр в этих местах неширок, он капризно петляет в верховьях. И Левашов смотрел сейчас и никак не мог припомнить, сколько же раз ему пришлось форсировать этот молодой Днепр — четыре или пять?

— Земляники там летом было! — сокрушенно сказал Санька, кивнув на луг. — Страсть!

— И вкусная?

— Кто знает? Туда никто не ходит. Мин там немецких…

— Насажали мины, как картошку, — сказал Павел Ильич, явно с чужих слов. — Позапрошлым летом туда стадо ушло — двух коров на куски разорвало. А пастуха, деда Анисима, так тряхну-

ло, что на все лето оглох.

Левашов замедлил шаг, приглядываясь к лугу, покрытому рослой увядшей травой.

— Ох и трава высокая! — сказал Санька с восхищением.

— Скажешь тоже! — возмутился Павел Ильич. — А толку от нее? Здесь бы косарям пройтись по второму, а то и по третьему разу…

Ну конечно же, тот самый луг! Тогда трава поднималась человеку по пояс. Росистая трава хлестала по мокрым коленям, цеплялась, хватала за ноги. Каких трудов стоило проделать в этом минном поле «калитку» для пехоты, когда готовились форсировать Днепр!

Левашов стоял, отдавшись воспоминаниям. Санька стоял с ним рядом молча и недвижимо. Но Павел Ильич сказал, недовольный:

— Чего тут стоять, глаза пялить? Идти так идти…

Санька еще не успел добежать до берега, как уже на ходу начал стаскивать с себя рубаху. Он бултыхнулся в воду, когда Павел Ильич по-хозяйски складывал на берегу свои исполинские галифе. Санька купался вблизи берега; несколько раз он вылезал из воды, но не успевал обсохнуть — и нырял снова. Павел же Ильич вошел в воду

не торопясь, но заплыл далеко, к черным сваям моста. С криком: «Вертун здесь, да глубокий!» — он нырнул и надолго исчез под водой.

Лязгая зубами, посиневший Павел Ильич натянул гимнастерку на мокрое тело и сказал:

— Раньше того омута не было.

— Ох и воронка здоровая! — вмешался Санька.

— Какая бомба, такая и воронка, — солидно пояснил Павел Ильич. — Этой бомбой немцы мост примерялись разрушить.

После купания Павел Ильич отправился по ягоды, а Левашов и Санька расположились на берегу, в ивняке. Санька не мог усидеть на месте. Он то вскакивал с воинственным криком «чирки!», то его внимание привлекал всплеск рыбы на середине реки.

В обратный путь купальщики двинулись, когда солнце было на обеде. Павел Ильич нес ведерко, полное черники. Пальцы и губы у него были под цвет ягоды.

Деревенские ребятишки издали с завистью смотрели на Саньку и Павла Ильича, сопровождавших приезжего дядьку при орденах. Санька посматривал по сторонам с откровенным торжеством. Павел Ильич делал вид, что ребят не замечает, и то и дело косился на свое ведерко.

Верхом на стене сруба, белевшего впереди, сидел бородач с топором. Едва Левашов поравнялся с ним, он перегнулся вниз и крикнул:

— С гвардейским почтением!

После этого было уже неудобно пройти мимо, не угостив мужичка папиросой.

И космы на его голове, и бороденка очень походили на мох, которым он заделывал пазы между бревнами.

— Не из одиннадцатой армии, случайно? — спросил мужичок, прикуривая.

— Нет.

— И до каких чинов дослужился?

— Старший лейтенант.

— Не из артиллеристов, случайно?

— Сапер.

— Нашего племени! — крикнул мужичок неожиданно громко и с еще более неожиданным проворством спрыгнул на землю. Он стал навытяжку, выпятил грудь и отрапортовал: — Гвардии рядовой Страчун Пётр Антонович. Саперного батальона гвардейской дивизии генерала Щербины Ивана Кузьмича.

— Часто упоминался в приказах Верховного Главнокомандующего, — сказал Левашов, желая польстить Страчуну.

— А как же! — просиял Страчун. — Я семь благодарностей ношу от товарища Сталина. На всю жизнь навоевался. Теперь хочу семейство под крышу определить. А то пойдут дожди, — Страчун опасливо взглянул на облако, одиноко странствующее в голубом небе, — утонем в землянке всем семейством, и поминай как звали. Помощники вот у меня не шибкие: сосед-инвалид, баба и дочки. Сына бы сейчас сюда, Петра Петровича, который в Кёнигсберге-городе голову сложил! Мы бы с ним вдвоем быстро управились. Между прочим, сын тоже по саперной части воевал.

Страчун горестно махнул рукой и, как бы спохватившись, что дельного помощника нет и не будет, а работа стоит, опять вскарабкался на сруб. Уже сидя верхом на бревне, Страчун крикнул уходящему Левашову:

— А товарищ, который в нашей земле покоится, в каких войсках, случайно, служил?

— Сапер! — ответил Левашов уже издали.

3

После обеда Левашов отправился к деду Анисиму, бывшему пастуху. Он нашел его в избе, которая показалась Левашову знакомой. Ну конечно же! В этой избе располагался их комендантский взвод. Эта печь была всегда заставлена со всех сторон сапогами, ботинками, завешана портянками, от которых поднимался удушливый запах.

И сейчас в избе было очень тесно: очевидно, здесь ютились две, а то и три семьи. В сенях шумела ручная мельница — две девушки мололи зерно нового урожая и при этом все время перешептывались.

Дед Анисим сидел на печи, опершись руками о край ее, пригнув голову, свесив ноги в лаптях. Он часами сидел в такой позе, словно вот-вот спрыгнет. Внимательно и дружелюбно смотрел он на Левашова выцветшими глазами, которые когда-то были голубыми.

— Значит, на обочине брошенной дороги? — допытывался Левашов. — И далеко от колючей проволоки?

— Саженях в десяти она и лежала. Беспощадно

минировал, ирод! Как шибанет! Двух коров — прямо на куски. Особенно Манька хороша была — редкого удоя корова. Две недели всем колхозом мясо ели…

— Больше жертв не было?

— В другой раз заяц забежал на луг и тоже угадал на мину. Та хоронилась подальше от дороги. А всё проделки этих иродов! И я тоже, внучек, чуть-чуть на смерть свою не наступил, хотя умирать никак не согласен. При неприятелях звал смерть, а сейчас не хочу. Потом, когда освободили меня, захотелось до победы дожить. И что же? Дожил! Ведь дожил! Теперь соображаю до полного расцвета жизни дожить. Ведь сейчас, — дед Анисим перешел на шепот, будто сообщал Левашову что-то весьма секретное, — только рассвет настоящему дню наступает. Жизнь только начинает развидняться. Хочу, чтобы избы новые, а в них — ни соринки, ни грязинки. Чтобы было чем хороших людей угощать. Мне теперь до полной жизни дожить требуется.

— Обязательно доживешь, дедушка!

Дед Анисим сердито посмотрел в угол, где возились ребятишки и заливисто ревел голый карапуз. Девочка лет семи, по-старушечьи повязанная платком, твердила испуганным шепотом:

— Цыц, Лёнька, молчи, пострел! А то «рама»[1] прилетит.

Дед Анисим еще больше свесился с печи к лавке, на которой сидел Левашов, хитро сощурил зоркие глаза и сказал, снова доверительно понизив голос:

— Я еще и в школу этого Лёньку провожу. Мало бы, что восьмой десяток! До настоящей жизни дожить — и сразу на погост? Мне умирать не к спеху…

Напоследок дед Анисим все-таки спустился с печи и сам проводил гостя до ворот. Старик оказался высокого роста и держался не по-стариковски прямо.

---

[1] Примечания: 1

Ра́ма — немецкий разведывательный самолет «Фокке-Вульф» FW-189 (*жарг.*).

4

Наутро Левашов вновь отправился с мальчиками к реке. На этот раз он прихватил с собой учебник, однако «Сопротивление материалов» поддавалось с трудом. Никак не идут в голову формулы, расчеты, когда рядом лениво плещет вода, в осоке крякают утки и такая вокруг благодать, что хочется лежать и лежать на траве, запрокинув голову к небу, не шевелясь, ни о чем не думая.

Но смутная тревога все-таки не оставляла Левашова, и касалась она вовсе не предстоящего зачета и не каких-нибудь других дел, а почему-то соседнего луга. Эта навязчивая мысль стала его под конец раздражать.

Левашов встал, обошел луг кругом, вдоль колючей изгороди, нашел на стёжке черную табличку «Ахтунг, минен!», забытую немцами, затем подобрал штык. Он взял в руку этот ржавый штык, шагнул за проволоку и, раздвигая траву руками, осторожно пошел по лугу. Иногда он подолгу стоял на одной ноге, вглядываясь вниз, затем крадучись делал еще шаг. Он тыкал в землю штыком, как щупом, и делал это как опытный сапер:

щупая землю, он держал штык наклонно.

Роса в августе уже не высыхала до полудня и блестела на солнце, а потому трава, примятая сапогами, матовая от сбитой росы, отмечала путь Левашова.

Мальчики остались ждать на стёжке за изгородью. Санька стоял с круглыми от испуга глазами. Павел Ильич строго смотрел вслед Левашову, ступающему по лугу: «Взрослый человек, а озорует. Ну зачем со смертью в жмурки играть? Как дитя малое!»

Обратно к стёжке Левашов пробрался по примятой траве, хранившей его следы. Он молча, одну за другой, выкурил две папиросы, а затем сказал:

— Ты мне, Павел Ильич, в лесу удилище срежь.

— Можно… — вздохнул Павел Ильич. — Только зря время проведете. Куда ее, плотву? Баловство одно. Наживка дороже.

— А мы и без наживки обойдемся. И без лески. И без крючка.

Санька был явно заинтригован, но ничего не решился спросить, а Павел Ильич держался так, будто все понимает, но не хочет попусту трепать языком.

— И тебе есть задание, Санька, — сказал Левашов. — Заготовь хорошую вязанку прутьев…

Левашов возвращался в школу, занятый своими мыслями, и даже на «гвардейское почтение» Страчуна ответил небрежным кивком. Тот ждал, что его угостят папироской, и посмотрел Левашову вслед с печальным недоумением.

Страчун сидел верхом на выросшей стене сруба, будто не слезал оттуда со вчерашнего дня, а кто-то подложил под него несколько новых венцов. Уже белели свежеотесанные стропила — скелет завтрашней крыши…

К вечеру в школу явился Иван Лукьянович; ему не терпелось посудачить на международные темы.

Левашов встретил его вопросом:

— Что решили делать с лугом?

— На военном положении земля. Про случай со стадом и с дедом Анисимом слышали? Так это — маленькое происшествие. У нас весной потяжелее случай был. Двух пахарей убило. Задели лемехом за мину. Приехали минеры из Смоленска, всю пашню обыскали. Полную коллекцию мин и снарядов собрали, на все вкусы. Ты, может, думаешь, фашист только деревню разрушил? Он и землю нашу разрушил. Сколько земли засыпать нужно, сколько мин разоблачить, сколько снарядов и бомб собрать, которые еще заряд держат!

— Ну а как с лугом?

— Сказали: огородите, ждите очереди. Сперва все пашни обыщут, потом за луга примутся. А пастух с подпасками совсем с ног сбились. Гоняют стадо по лесу, с поляны на поляну. А траву как косим? Раз замахнёшься косой — трава, второй раз замахнешься — пенек или кочка. Что же делать? Сразу всей земли не освободить. А на лугу мин больше, чем картошек на огороде…

— Вот я и хочу, Иван Лукьянович, этот луг прибрать. Только голыми руками до мин не доберешься. Придётся в Смоленск съездить, в штаб разминирования.

Иван Лукьянович сперва пытливо, а потом с нежностью посмотрел на Левашова.

— Я тебя до шоссе на таратайке подвезу. Правда, машины теперь редко ходят. Но тебя шоферы примут.

Утром Левашов распрощался на шоссе с Иваном Лукьяновичем и остался сидеть у столба 461, поджидая попутную машину.

«Да ведь это четыреста шестьдесят один километр от Москвы!» — догадался вдруг Левашов, глядя на столб, и тотчас же повернулся лицом на восток, где обрывалась серая линия гравия. Он помнил это шоссе в дни, когда на нем было ожив-

леннее, чем на улице Горького[2] в Москве. Сейчас шоссе было пустынно, и он собрался идти пешком. Но тут же его догнала полуторка, и шофер, увидев, что пешеход из своих, из фронтовиков, не обидел его отказом и остановил машину…

Левашов вернулся в Нитяжи на третий день к вечеру. Он нес под мышкой небольшой ящик.

С ночи зарядил дождь. Утром Левашов несколько раз выходил на крыльцо и хмуро поглядывал на небо, плотно затянутое тучами. Они теснились в несколько ярусов. В разрывах черных туч виднелись грязно-серые, цвета разбавленной туши, за ними чуть посветлее — и ни единого голубого окна!

Здесь, в Нитяжах, раскаты грозы, казалось, принесли с собой отзвуки былой канонады.

Дожди не унимались несколько дней, и все эти дни Левашов занимался, с трудом усевшись за парту, уперев колени в откидную доску, — и сам себе казался страшным верзилой. Он часто отрывался от «Сопротивления материалов», чтобы повозиться у привезенного ящичка.

Дважды в день Левашов, натянув кожанку, шлепал по лужам, по липкой грязи к Днепру. Он

---

[2] Примечания: 2

В 1990 г. улице возвращено историческое название Тверская.

шел, с усилием вытаскивая ноги из глины.

За шиворот затекала вода, кепка насквозь промокла, — а он прогуливался по стёжке и посматривал на мокрую траву за колючей проволокой, будто примеряясь к чему-то. Потом так же неторопливо шел обратно в школу.

Страчун, несмотря на дождь, сидел на крыше и обтесывал стропильную ногу. И Левашов подумал: «Велико же нетерпение бездомного человека, горяча его мечта о крыше, если он работает в такую непогоду».

К утру дождь унялся, но и на следующий день Левашов продолжал зубрить учебник по сопротивлению материалов, втиснувшись в парту так, что колени у него были выше подбородка.

К полудню лужи обмелели, к вечеру высохли, но Левашов по-прежнему сидел в классе. Иван Лукьянович, который приковылял вечером, чтобы послушать последние известия, решил уже, что Левашов бросил думать о луге, и потому ни о чем не расспрашивал. Левашов производил впечатление человека нерешительного, который не смог накопить достаточно смелости для этого отчаянного предприятия и не собрался с духом, чтобы от него окончательно отказаться.

5

На самом же деле Левашов не торопился, так как боялся, что в сырую погоду элемент у миноискателя иссякнет быстрее. Он очень боялся за эти старые элементы, потому что работа предстояла огромная. Шутка сказать — лужок! Метров шестьсот, не меньше, если считать по берегу, и километра полтора в обход, если шагать вдоль колючей проволоки.

Левашов разрезал на кусочки свою простыню, а Санька принялся прикреплять полотняные треугольнички к прутьям, расщепленным на конце. Павел Ильич тем временем наращивал из кусков проволоки трос.

Левашов долго и сосредоточенно курил, прохаживаясь по стёжке, потом заложил за пояс серп, засунул за одно голенище саперную лопатку, за другое — прутья, надел наушники, взял в руки шест миноискателя и перешагнул через колючую изгородь.



— А мы пойдем по вашим следам и понесем все, что нужно, — предложил Павел Ильич.

— Ни шагу! — погрозил Левашов. — Пока вам на лугу делать нечего.

«Как легко отвыкаем мы от опасности и как трудно сживаемся с ней!» — подумал Левашов, перешагнув через колючую проволоку.

Левашов шагал, держа в руках удилище Павла

Ильича. Он шарил миноискателем перед собой, обруч ударял по стеблям трав и по цветам, сбивая созревшие семена.

Сначала в наушниках было тихо, но потом возник прерывистый писк, почти такой же, как в телефонной трубке, когда номер занят.

Мальчики увидели, что Левашов остановился, отложил удилище, достал серп, нагнулся, отбросил пучки срезанной травы, достал из-за голенища прут с белым флажком, воткнул его в дерн и двинулся дальше.

Вскоре с десяток флажков белело позади Левашова.

«Странно, что одни противотанковые мины! — удивлялся Левашов. — На чем же подорвался заяц?»

Противотанковая мина может оставить в живых даже наступившего на нее человека, такая мина требует давления килограммов в сто — сто пятьдесят.

Левашов знал, что немцы имели обыкновение ставить противотанковые мины вперемежку с противопехотными. Неужто на этот раз они себе изменили?

Вновь слышится писк в наушниках. Левашов становится еще осторожнее, срезает пучок травы,

другой. Капли пота блестят на его лбу. Так и есть — немецкая противопехотная мина «эс» с тремя ядовитыми усиками. Один, второй, третий. Они только ждут прикосновения к себе. Им нет дела, что война давно кончилась, что фашистов давно прогнали со Смоленской земли и со всех других русских земель. Все эти три года усики мины терпеливо и хищно подстерегали свою жертву.

Секунды три-четыре такая мина шипит, затем взрывается капсюль-детонатор, мина выпрыгивает из земли и засевает все вокруг шрапнелью. Свинцовых шариков не то двести, не то триста, и каждый из этих шариков может намертво ударить в голову, в грудь, в живот.

Прут с белой тряпочкой остался сторожить мину, а Левашов двинулся вперед. Луг уже перешел в займище[3], появились сочные пятна осоки и обломки сухого камыша под ногами, отметившие весной границу половодья.

Еще несколько раз возвращался Левашов за флажками или менял элемент. Но пришло наконец время, когда Левашов закинул миноискатель за плечо беззаботно, как удочку или сачок для ловли бабочек. Он исшагал луг за три дня вдоль

---

[3] Примечания: 3

За́ймище — прибрежная полоса, затопляемая разливом.

и поперек, так что не осталось клочка земли, над которым он не пронес обруча с чуткой коробочкой.

Мальчики приносили ему обед от Никитичны. Котелок с супом нес Павел Ильич. Он не доверял Саньке, который мог побежать и расплескать весь навар.

Левашов ощущал вечерами такую крайнюю усталость, будто сделал переход в полсотни километров без привала…

Перестуком топоров и натужным пением пил встречала деревня Левашова, когда он, бесконечно усталый, медленно брел в школу. У срубов возились люди. Дети подтаскивали горбыли, подростки — бревна. Плотничали и женщины, и старики.

Крыша у Страчуна была готова, он подтесывал балки перекрытия.

— Дела, однако, у тебя идут! — сказал Левашов, войдя в избу и глядя на Страчуна снизу вверх. — Домишко-то растет…

— Лениться некогда. По-саперному, товарищ гвардии старший лейтенант! — весело сказал Страчун и спрыгнул вниз в надежде закурить. — С топором и спать ложусь. Вместо жены законной.

— И с минами приходилось дело иметь?

— А ты думаешь! Как же! — Страчун уже собрался прихвастнуть, но понял, что попал впросак, и добавил неуверенно: — Хотя, как сказать… Смотря в каком смысле…

— Возьмешься мне помочь? Хочу ваш луг разрядить. Миноискатели есть. План минного поля снял.

— Не-е-ет! — раздалось после долгого кряхтения и вздохов. — От этого вы меня, товарищ, увольте. Ищите себе другого помощника. Я ведь на фронте больше при лошадях состоял. Потом — избу нужно до дела довести. Семейство совсем в землянке затопило, заодно с мышами. Так что вы не обижайтесь, товарищ, но я в такую компанию не гожусь.

Страчун в испуге даже отступил к стене.

— Меня-то чего пугаться? — сказал Левашов сухо и протянул портсигар.

Страчун какое-то мгновение оставался в нерешительности, но затем протянул руку и взял папиросу так неловко, будто она была зажжена уже в портсигаре и можно обжечь об нее пальцы.

— Зря ему папироски дарите, — заметил Павел Ильич, когда они отошли от избы. — Он бы у меня зимой снегу не допросился.

Павел Ильич презрительно сплюнул и локтями водворил на место сползающие галифе…

Вечером в школу, по обыкновению, пришел послушать радио Иван Лукьянович. Он редко пропускал последние известия и все старался поймать международный обзор.

Левашов показал Ивану Лукьяновичу границы минного поля и, между прочим, рассказал о беседе со Страчуном.

Иван Лукьянович вскочил с табуретки и заковылял по классу.

— Насчет обоза — это он правду сказал. Всю жизнь в обозе прожил. И на фронте то же самое. Даже до ефрейтора не дослужился. Без единой медали домой явился. За сына — и за того, наверно, не рассчитался. Есть у нас женщины в колхозе, которые больше пользы принесли. По крайней мере, в лес партизанам продукты носили за тридцать километров. А почему так получается со Страчуном? Самолюбивый человек! Сам себя слишком любит. И всю жизнь мимо рубля за пятаком ходит. Еще уборку не закончили — лошадей стал требовать, лес возить. Конечно, в землянке живет. А чем другие хуже? Разве другие под крышу не торопятся?

Иван Лукьянович долго ходил из угла в угол,

нахмурившись, сердито стуча палкой. Потом сел и тяжело ударил рукой по парте:

— Ты на посох мой не смотри. Это я только притворяюсь хромым. Я ведь хитрый! Можешь на меня в своем деле облокотиться. Могу еще помощников представить. Правда, штатские будут люди или из женского сословия. Может, нам кузнец Зеркалов поможет, тоже человек фронтовой, партийный…

— Обойдемся вдвоем, Иван Лукьянович. Тем более, связные у меня — орлы. Такие не подведут!

Левашов подмигнул в сторону Саньки и Павла Ильича. Они тесно, касаясь друг друга висками, сидели на одной парте, как на уроке, и, пришептывая, читали книжку.

Санька, услышав похвалу, приподнял было голову, но, очевидно, получил тумака в бок, потому что порывисто и еще ниже, чем прежде, склонился над книжкой. Павел Ильич притворился, что ничего не слышит и всецело занят чтением.

Глаза Левашова весело заблестели, а Иван Лукьянович улыбнулся, показав жемчужные зубы, но тотчас же прикрыл рот рукой и спросил деловито:

— Лошадь нам не потребуется?

— Попозже.

— Та-ак. Утречком заеду. Сейчас по хозяйству отправлюсь.

Уже в дверях Иван Лукьянович попросил:

— Если до последних известий досидишь — расскажешь. Особенно мне этот Миколайчик на нервы действует, будь он неладен совсем, вместе со своими родителями!..

Сперва по радио передавали лекцию, причем лектор говорил таким скучным голосом, будто и сам себе надоел до смерти. Затем начался радиорепортаж со стадиона «Динамо» о футбольном состязании. Оказывается, в Москве дождь. Левашов отчетливо представил себе лужи на поле стадиона, тяжелый скользкий мяч, потемневшие майки футболистов. В такие дни тысячи раскрытых зонтов делают трибуны похожими на черные соты. Пестрят голубые, зеленые, оранжевые, красные, синие дождевики, недавно вошедшие в моду. В дождливый августовский вечер темнеет раньше, и к концу игры видны огоньки папирос — они светлячками мигают на трибунах.

Радиоприемник не мог вместить в свое нутро рев стадиона, он был наполнен каким-то хрипом, шипением, треском. Левашов невольно поддался азарту; он напряженно вслушивался в пересыпанную междометиями, рваную речь

комментатора.

Мальчики тоже подошли к радиоприемнику, но сидели равнодушные; они никогда не гоняли мяча, не видели, как играют в футбол.

— Театр интереснее слушать, — сказал Санька, подавляя зевок. — Особенно если театр для детей и там…

— Для взрослых интереснее, — перебил Павел Ильич. — В детском театре тетеньки пищат, будто мы маленькие и не понимаем!..

Когда мальчики ушли, Левашов прибавил огонь в лампе и взялся за учебник.

6

Левашов сидел за партой, задумчиво обхватив колени, когда вошла девушка. От неожиданности он со стуком вскочил, совсем как шалун-школьник, захваченный врасплох учительницей.

— Сидите, сидите, пожалуйста, — остановила она его тоном учительницы, которая оторвала ученика от приготовления уроков.

— Глеб Левашов.

— Очень приятно познакомиться! — Девушка протянула руку и улыбнулась. — Елена Климентьевна. Простите, школьная привычка. Зовите просто Леной. Ну, как устроились? Почему от моего угла отказались?

— Спасибо, и здесь хорошо. А потом, — Левашов показал глазами на учебник, лежащий на парте, — обстановка больше к занятиям располагает.

Оба засмеялись, вспомнив, в какой нелепой позе сидел он за партой, как вскочил, приподняв ее с собой, с каким трудом высвободился. Левашов смеялся громко, а Елена Климентьевна беззвучно, про себя.

Ужин свел обоих в комнатке Елены Климен-

тьевны. На щеках ее играл румянец; впрочем, может быть, оттого, что она сидела у самовара.

Светлые волосы, добела, как у Саньки, выгоревшие на солнце, были схвачены в узел на затылке, загорелая шея открыта. Чуть выгоревшие брови выделялись на смуглом глянцевитом лбу, не знающем веснушек и морщинок. Нос слегка вздернут; еще чуть-чуть — и ее можно было бы назвать курносой. Глаза то светлели — и тогда были голубые, как у Саньки, то темнели — и становились синевато-серыми.

Переговорили уже о цветной кинематографии, о приготовлении ухи, о пенициллине, о сопротивлении материалов, о светящихся часах, о хоре Пятницкого, еще о чем-то и, наконец, о разведении помидоров на Смоленщине.

— Пусть хоть по са́мой земле расстелятся, а все-таки будут у нас помидоры! Правда, в этом году рассада померзла. Что же, подождем еще годик. Люди на своих ошибках учатся.

— Не всегда. Например, наш брат сапер на своих ошибках никогда не учится. Опаздывает.

Левашов взглянул на часы, резко встал из-за стола, поблагодарил и торопливо стал прощаться.

Елена Климентьевна удивленно посмотрела на

него и заметила, что он чем-то встревожен.

— Доброй ночи, — сказал Левашов уже в дверях.

— И вам также.

— А мне бы вы лучше доброго дня пожелали.

И он осторожно закрыл за собой дверь, притворившись, что не заметил вызванного им недоумения.

Левашов проснулся чуть свет от неясного беспокойства. Вначале он не мог сообразить, откуда взялось это противное ощущение тревоги, но тут же вспомнил, что пришло время отправиться на луг.

«А почему надо идти сейчас? Почему бы не выспаться хорошенько и не отправиться попозже? И почему это обязательно нужно сделать сегодня, а не завтра, послезавтра? В конце концов, это мое дело. Хочу — пойду, не хочу — не пойду. Я никому ничего не обещал, ни перед кем не обязан отчитываться...»

Чтобы не поддаться сомнениям, Левашов быстро оделся. Он подошел к классной доске, взял мелок и написал: «С добрым утром!», затем вышел на цыпочках, напуганный скрипом половиц и двери.

«Нашел чего пугаться! — рассердился он на

себя. — Будто мне сегодня нечего больше бояться, кроме скрипа половиц».

Он походил на заправского рыболова, только к удилищу у него был пристроен обруч с коробочкой посередине.

Нитяжи спали в предутренней тишине. Но то была не гнетущая тишина фронтовой деревни, забывшей лай собак, пение петухов, скрип колодезного журавля. Кое-где над избами и блиндажами уже поднимались дымки, а голосистые петухи кричали свое «кукареку» так раздраженно, словно люди сами просили разбудить всех пораньше, а теперь почему-то ленятся вставать и заставляют их, петухов, надрываться от крика.

Левашов боялся замедлить шаг, чтобы не было времени передумать.

«Неужели и дед Анисим переживет меня?» — мелькнула мысль, когда он проходил мимо знакомого дома.

Страчуна еще не было на крыше избы или где-нибудь около нее.

«И правильно сделал, что отказался, — без малейшего раздражения подумал Левашов. — По крайней мере, будет жив-здоров».

За дальним лесом вставало солнце. Верхушки берез были розовыми, розовые отсветы ложились

на светло-зеленое небо.

Чем ближе он был к реке, тем сильнее пахло влажной прохладой, густым настоем трав и запахами сырой земли, остывшей за ночь.

7

У флажка Левашов опускается на колени. Отброшены в сторону пучки срезанной травы. Где же мина? Левашов шарит рукой по дерну, осторожно разгребает влажную землю и натыкается на что-то твердое. Угадывается выпуклая крышка противотанковой мины. Пальцы нащупывают взрыватель, чеки нет.

Левашов вытирает пальцы и ладонь о гимнастерку и достает из кармана гвоздь. Лишь бы не задрожали руки — сапер касается сейчас кончиками пальцев самой своей жизни. Он пытается вставить гвоздь в отверстие, но оно забито землей. Левашов выдавливает землю гвоздем; наконец-то гвоздь входит в отверстие.

Капли пота стекают по спине между лопатками. Он не слышит ничего, кроме сердца; не слышит кузнечиков, которые еще недавно стрекотали так громко, что заглушали птиц.

Пальцы вновь осторожно касаются взрывателя. Головка его очищена от комочков земли, и теперь видно, что красная точка стоит против красной полоски — мина на боевом взводе. «Однако сурик у немцев хороший. Три года в земле, а держится».

Кроме красной черты, ничего не видно, всё съела ржавчина, но Левашов знает: над чертой есть надпись «шарф», что значит «опасно». Минер не забудет этого слова до конца дней своих.

Левашов достает гривенник и, пользуясь им как отверткой, осторожно поворачивает головку предохранителя так, чтобы красная точка встала против белой полоски. «Белила тоже подходящие, вытерпели». Он знает, что над белой чертой написано «зихер», что значит «безопасно».

Левашов облегченно вздыхает.

Осталось только вывинтить взрыватель, но ржавчина попортила резьбу — взрыватель не поддается. Левой рукой Левашов придерживает мину, чтобы не стронуть ее с места, — может быть, ввинчен и боковой взрыватель. Сильно прижимать мину к земле тоже опасно: может оказаться на месте донный взрыватель.

Ладони у него в испарине, он вытирает их о гимнастерку. Осторожно касаясь мины, Левашов в конце концов вывинчивает верхний взрыватель.

Он подкапывает мину сбоку. Так и есть: от нее тянется в землю ржавая проволочка. Он ставит чеку в боковой взрыватель. Теперь нужно перерезать проволочку.

Левашов достает из кармана кусачки и уже подносит их к проволочке, но в последний момент останавливается. Чёрт ее знает, странная она какая-то, эта проволочка. Не поймешь — натянута она или не натянута. Чаще всего проволочка провисает свободно и мина взрывается тогда, когда эта заземленная проволочка натягивается. Значит, ее можно перерезать. Но, может быть, проволочка все-таки была натянута и держит на пружине ударник? Перерезать такую проволочку — взрыв.

Долго смотрит он на проволочку и не может понять — натянул ее немецкий минер или нет, резать ее или не резать. Проклятый ржавый змееныш!

Пот больно ест глаза, и, чтобы сосредоточиться, Левашов зажмуривается. Сейчас он еще раз попытается представить себе схему мины. Но вместо этой схемы перед глазами упрямо возникает Скорняков.

Он лежит навзничь на опаленной земле, у края свежей воронки. В левой руке, откинутой в сторону, он судорожно сжал пучок травы. И лицо его и волосы запорошены землей. Поодаль на траве лежит пилотка — ее сорвало, отшвырнуло взрывной волной. Непомутневшие глаза слег-

ка прищурены, будто Скорняков вглядывается в пасмурное небо и хочет определить, пойдет дождь или не пойдет. Лицо невредимо, но вся гимнастерка в кровавых прорехах. Один осколок продырявил левый нагрудный карман. Наверно, этот осколок и оказался смертельным, а всех остальных осколков Скорняков и не почувствовал…

Все-таки очень глупо приехать на отдых — и ввязаться в такую историю. В сущности, Левашов мог бы и сейчас бросить эту затею. Но как он посмотрит в глаза Ивану Лукьяновичу? Как объяснит все Елене Климентьевне и даже Павлу Ильичу с Санькой? Что о нем подумает Страчун? В конце концов, пусть думают о нем что угодно. Все равно забудут, едва он уедет. Забудут — и правильно сделают. А вот Скорнякова не забыли.

Ведь, по сути дела, Скорняков не должен был погибнуть, потому что на задание следовало идти ему, Левашову. Скорняков сам вызвался заменить Левашова, чтобы дать ему возможность отдохнуть после ночного поиска.

Скорняков вновь возникает перед глазами Левашова. Он лежит, все так же прищурившись, и смотрит на Левашова, будто ожидая его ответа.

Левашов отирает пот со лба, резко встряхива-

ет головой, открывает глаза и всматривается в землю, откуда тянется ржавая проволочка. Продолжая стоять на коленях, Левашов выпрямляет спину и оглядывается вокруг.

Вдали виднеется фигура Ивана Лукьяновича, срезанная плоскостью земли по пояс. Поблескивает лопата, взлетающая выше головы. Левее Ивана Лукьяновича копает землю Зеркалов. Он только приступил к работе и весь на виду.

Левашов еще раз ощупывает проволочку. Теперь он отчетливо, как на чертеже, видит схему мины. Он твердо уверен, что проволочка эта не была натянута, подвоха нет. Левашов сжимает кусачки — проволочка безжизненно повисает.

Левашов снова отирает рукавом пот, заливающий глаза. Гимнастерка мокрая, словно он только что выскочил из бани и оделся не вытираясь.

Боковой взрыватель вывертывается на редкость легко — не верится, что он проторчал в земле три года.

Остается узнать, нет ли взрывателя на дне мины. Левашов подкапывает под миной землю и делает это осторожно, чтобы лопаткой или рукой не задеть за вероятную проволочку. Он пригибается и смотрит в щель между дном мины и землей. Проволочки нет. Значит, мина была с

одним сюрпризом.

Снова вздох облегчения. Он уже вымок весь, от затылка до пяток. У него такое ощущение, будто и в карманах у него вода, и в сапогах, а если он пойдет, вода будет хлюпать и выплескиваться из голенищ.

Левашов поднимается с колен, берется за ручку мины и оттаскивает ее в сторону с той подчеркнутой небрежностью, которую саперы берегут для обезвреженных мин; эта небрежность тем больше, чем опаснее была мина. Теперь это уже не противотанковая мина, способная перевернуть вверх тормашками танк. Это всего-навсего безобидная железная коробка с толом.

Левашов машет рукой мальчикам и кричит им:

— Шагайте по моим следам! К флажкам не подходить!

Павел Ильич шагает первым, за ним Санька. Они оттаскивают мину к изгороди, гордые оказанным доверием, серьезные, молчаливые.

Левашов бросает окурок, подходит ко второму белому флажку и снова принимается за работу. Несколько мин без сюрпризов, затем попадается противопехотная мина «эс», противотанковая с донным взрывателем и еще несколько мин без

сюрпризов.

8

Солнце стояло в зените, когда Левашов вернулся на стёжку. Иван Лукьянович успел отрыть на лугу четыре глубоких окопа. Но не было заметно, что он основательно потрудился. Зеркалов отрыл два окопа и ушел в кузницу.

Левашов решил без нужды не рисковать, если отверстие для чеки забито землей или головка взрывателя не вывинчивается. В этом случае он спрячется в окопе и с силой дернет оттуда за трос, привязанный к ручке мины.

Первую мину он выдернул бесшумно — она была без сюрпризов, вторую — так же, а в третий раз раздался взрыв, неожиданно сильный.

Земля опала, кислый дым минного пороха разошелся, коричневая пыль осела на влажной траве, но Иван Лукьянович и мальчики, наблюдавшие издали, не увидели Левашова.

— Дяденьку убило! — не выдержал Санька и заревел.

Иван Лукьянович стоял молча, нахмурив брови; могучие руки его бессильно лежали на ручке лопаты.

— Чего ревешь, как девчонка? — прикрикнул

Павел Ильич. Губы у него дрожали. — А может…

— Живой! Живой наш сапер! — крикнул Иван Лукьянович и замахал в воздухе лопатой легко, как палкой. — Всё в порядке!

Высокий Иван Лукьянович увидел Левашова раньше ребят. Тот поднялся в окопе и принялся трясти головой, склоняя ее то на одно плечо, то на другое, — так делают, когда в уши наливается вода. Левашов не успел как следует пригнуться в окопе, и его порядком оглушило.

Трос разметало взрывом, и его снова пришлось наращивать.

Взрыв следовал за взрывом, потрясенная земля и все живое испуганно внимали им.

Трава отшатнулась от свежих воронок, припала к земле, легла плашмя, не в силах выпрямить стебли.

Сквозь щели в бревенчатых потолках землянок и блиндажей осыпáлся песок.

Дед Анисим то и дело крестился, сидя в своей привычной позе — свесив ноги, опершись жилистыми руками о край печи, будто собираясь спрыгнуть.

Дребезжали в избах вновь вставленные стекла.

На тонкой ножке подпрыгивал глобус, стоящий на шкафу в школе.

Взрывной волной выплеснуло дождевые капли, блестевшие в лиловых чашечках цветов на могиле Скорнякова, и стебли их облегченно выпрямились, избавленные от непосильной тяжести.

Коровы на дальней лесной поляне в удивлении переставали жевать и поднимали головы, прислушиваясь.

Деревенские псы, поджав хвосты, попрятались кто куда, и только щенки тявкали на улице с безмятежным любопытством: «Откуда такой гром?»

Сторожиха, дремавшая у амбара с зерном, всполошилась и, как она потом рассказывала, «заняла оборону» — взяла в руки древнюю берданку, которую за негодностью бросили еще партизаны.

В тот час для людей, для животных, для растений этих мест прогрохотало и отгремело напоследок оглушительное эхо войны.

— Шабаш! — сказал Иван Лукьянович, опершись на ручку лопаты, как на посох. — Теперь и земля наша отвоевалась. Полная демобилизация!

Встревоженные или подгоняемые любопытством люди спешили из деревни на луг. Прискакал верховой из Малых Нитяжей. Шумной ватагой бежали наперегонки ребятишки. Ка-

кие-то сорванцы собрались перешагнуть через колючую изгородь, но Павел Ильич строго на них прикрикнул. Он держался так, будто он один, и даже лучше Левашова, знал, какая мина взорвется, если ее потянуть тросом, а какая — нет.

Обезвреженные мины Левашов уложил на дне углубленной воронки.

— Зарыли глубже бабушкиного клада, — сказал Иван Лукьянович, разравнивая землю.

Левашов громко и долго смеялся. Шутка Ивана Лукьяновича казалась ему сейчас остроумнейшей, и небо — невиданно голубым, и стрекотание кузнечиков — волшебной музыкой, и запах трав — лучшим ароматом из всех когда-либо слышанных. Весело и легко перепрыгнул Левашов через ненужную теперь колючую изгородь.

Первой он увидел на стёжке Елену Климентьевну. Она была в голубой косынке, в белом платье, в голубых носках, оттенявших загорелые ноги, и в белых спортивных тапочках.

Елена Климентьевна подбежала и порывисто схватила Левашова за руки:

— Если бы вы только знали, как я…

Ей неудержимо хотелось сказать Левашову что-нибудь очень ласковое, нежное, назвать его Глебушкой, что ли…



Он стоял перед ней, пропахший минным порохом и сырой землей, с опущенными руками, устало лежащими по швам, с задымленным лицом, которое освещали улыбающиеся глаза.

Елена Климентьевна протянула ему смятый платочек, который теребила в руках. Левашов вытер копоть со лба и потемневших висков, стал развертывать платочек, желая вытереть шею, и увидел, что платочек разорван. Левашов посмотрел с вопрошающим лукавством. Елена Климентьевна покраснела, а увидев, что Левашов заметил ее смущение, нагнулась и сорвала травинку.

— Что это за трава? — притворился он заинтересованным.

— Мятлик, — ответила она, покусывая травинку и не поднимая головы. — А вот лисий хвост. Вот мурава. А вот та коричневая метелка — конский щавель.

— Придется здесь и ботаникой заняться…

— Я же вам говорила, что Нитяжи — плохой курорт. А вы еще спорили.

— И сейчас готов спорить. Один воздух чего стоит!

И он глубоко, всей грудью вдохнул воздух, настоянный на травах и цветах.

— А утром ушли не попрощавшись! — Елена Климентьевна погрозила пальцем.

— Я больше не буду, — сказал он тоном провинившегося ученика.

— Мне пожелали доброго утра, а сами тайком сюда. Не стыдно? И почему-то спали без простыни. Никитична все рассказала.

— Они простыню свою на флажки разорвали, — не вытерпел Санька, стоявший в стороне.

Павел Ильич дернул его за штанину, и тот замолк.

Левашов стоял, зажав в руке изорванный платочек, и смотрел на луг, весь в свежих воронках.

Вскоре появился и дед Анисим. Перекрестившись, он перелез, цепляясь штанами, через колючую изгородь и пошел по лугу, пугливо обходя свежие воронки.

— Смелей шагай, дедушка, не бойся! — крикнул ему Левашов.

— А вдруг она во второй раз взорвется?

— Это ей не полагается.

— Дело-то давнее! А вдруг она забыла, сколько раз ей полагается взрываться? Понадеешься на нее — и как раз на смерть свою наступишь.

— Неохота умирать-то?

— Неохота, внучек. Если за мной смерть не

придет, сам вовек не умру, а тем более сегодня, в праздник.

— Праздник?

— А как же! Третий Спас сегодня. Первый Спас — медовый, второй — яблочный, а сегодня — хлебный. Пришла пора свежего хлебушка попробовать… Но праздник праздником, а если общество нуждается, могу и поработать.

— Вот и хорошо, — сказал подошедший Иван Лукьянович; он и хмурился и улыбался. — Нам твоя помощь, дед Анисим, даже очень требуется. Назначаю тебя старшим по уборке колючей проволоки. В заместители даю Павла Ильича. Не хочу сюда баб впутывать — дело мужское.

Павел Ильич с видом победителя посмотрел на Саньку, потом скользнул небрежным взглядом по ораве ребятишек, стоявших поодаль, и подтянул локтями штаны.

— Ну как, дед с внуком? Сработаетесь? Подводы скоро придут. Помощников хоть отбавляй! — Иван Лукьянович указал на ребятишек. — Колья выдернуть, проволоку свернуть в мотки и везти к старому амбару как утиль. Чтобы завтра на этом лугу стадо паслось!

В толпе любопытных Левашов заметил и Страчуна. Он стоял поодаль и не решался подойти

поближе.

Когда, возвращаясь с луга, Левашов проходил мимо избы Страчуна, тот стоял в дверях. Он теребил бородку, похожую на мох, и по всему было видно, что специально поджидал Левашова. Страчун даже снял шапку, но поздороваться первым не решился.

— С гвардейским почтением! — весело сказал Левашов и достал портсигар.

Страчун тяжело вздохнул, но папиросу взял.

— Вы на меня, товарищ гвардии старший лейтенант, не обижайтесь. Неустойка у меня получилась.

Он перешел с Левашовым на «вы», почувствовав, что утратил право на товарищество.

— Ну что же, Пётр Антонович. Только зачем себя сапером называть? Теперь человек на виду не меньше, чем в военное время. Ведь, что греха таить, бывало на фронте и так: стала дивизия гвардейской — и все проснулись на другое утро гвардейцами: и герои и трусы…

Страчун молчал, по-прежнему виновато теребя замшелую бородку.

— Ты там хвалился… Сколько благодарностей имеешь от Верховного Главнокомандующего?

— Семь благодарностей, товарищ гвардии

старший лейтенант! — отрапортовал Страчун, становясь навытяжку.

— Ну а дальше? Что же ты, не хочешь восьмую благодарность заработать? Например, за восстановление Смоленщины?

— Был бы сын жив, — вздохнул Страчун, — я бы куда угодно пошел. И смелости бы сразу прибавилось. А так — один я остался работник. Понимаете? Один! Кругом женщины и дети, не с кем за бревно взяться. Вдвоем с Петром Петровичем мы бы избу быстро подняли.

— Был бы твой Пётр жив, да мой дружок Алексей, да еще товарищи — я бы тебя и просить не стал. Хоть на печи сиди! Мы бы сами управились.

У Страчуна был такой грустный вид и он так виновато теребил бородку, отливающую зеленым, что Левашову стало жаль его.

— Когда новоселье справлять будем?

— Думаю к Натальину дню управиться. Двадцать шестого августа по старинному исчислению. Как раз средняя дочка — именинница.

— Жаль, не придется окропить твой дом святой водой.

Левашов выразительно подмигнул.

Страчун сразу повеселел. На прощание он с

прежней непринужденностью взял папиросу, закурил и принялся вставлять стекло в оконную раму.

9

Сперва собрание предполагали провести в классе, но скоро выяснилось, что класс не вместит всех желающих. И тогда Елена Климентьевна предложила перенести собрание на лужайку за школой. Расселись на траве.

Парторг Зеркалов, пришедший прямо из кузницы, в грязном комбинезоне, с задымленным лицом, предоставил слово для доклада Левашову.

Левашов, сам взволнованный воспоминаниями, подробно рассказал о боях за Большие Нитяжи. После того как деревню отвоевали, ей суждено было надолго остаться во фронтовой полосе. Колхозников переселили тогда подальше от огня, в тыл. На холме, за восточной околицей, в тех самых блиндажах, находился командный пункт дивизии. Противник удерживал плацдарм на левом берегу Днепра, так что наш передний край проходил в трех километрах северо-западнее деревни. Дивизия получила приказ сбросить противника с плацдарма на левом берегу, форсировать Днепр и, развивая успех, ворваться на плечах противника в глубину его обороны. При

этом следовало иметь в виду, что по берегу у немцев идет ложный передний край, а опорные пункты их долговременной обороны расположены в нескольких километрах западнее.

Несмотря на сильный огонь противника, гвардии старшина Скорняков сумел со своими саперами проделать «калитку» в минном поле. Скорняков уже собрался отползти назад, когда поблизости ударил снаряд. Беда, возможно, и миновала бы Скорнякова, но осколок снаряда случайно ударил в мину. Скорнякова нашли на опаленной земле уже бездыханным.

В этом месте доклада все, кто сидел, как бы сговорившись, встали; многие обнажили головы.

После доклада стали задавать вопросы.

— Откуда Скорняков родом?

— С Урала.

— Может, у него жена или дети дробненькие остались? — осведомилась моложавая седая женщина в солдатской гимнастерке. — Тогда пусть приезжают в колхоз на поправку. Могут даже не сомневаться.

— Нет, Скорняков не был женат. Он погиб двадцати двух лет от роду. Старушка-мать у него осталась. Живет где-то на Урале, в Уфалее — не то в Верхнем, не то в Нижнем.

— И мать примем со всем сердцем. Сами сынов лишились. Поплачем вместе.

Седоволосая женщина держалась как хозяйка, которая вправе приглашать в колхоз гостей по своему усмотрению.

— Ты как же, по своей воле в Нитяжи приехал? — спросил дед Анисим. — Или, может, тебя, внучек, прислал тот генерал с черными усами, который всегда в машине ночевал? Тот генерал обещался после войны прислать саперов, чтобы разоблачить все мины в окружности.

— По своей воле, дедушка. Я того генерала не встречал.

— А правда, что генерал Черняховский был молодой и красивый? — спросила девушка, одна из тех, что крутили в сенях у деда Анисима ручную мельницу.

Задав вопрос, она застеснялась и закрыла лицо пестрым платком.

— Правда. Между прочим, генерал Черняховский несколько раз приезжал в эту деревню. Рядом с блиндажом, где живет Иван Лукьянович, командир нашей дивизии находился. Вот генерал Черняховский и приезжал к нему перед наступлением.

— Может, у тебя у самого дочка или сынок ма-

ленький дома живет в неудобстве? — спросил долговязый дядька, закопченный от кепки до сапог, по всем признакам — подручный Зеркалова. — Привози сюда, как на дачу. Харчами не обидим. Присмотрим не хуже, чем за своими.

— Спасибо за приглашение. Но я тоже одинокий.

— А не можете вы, товарищ, посодействовать насчет молотилки с приводом? — спросила девушка, подстриженная по-мальчишески, с партизанской медалью на кофточке.

— Чтобы цепами на будущий год нам не махать, — поддержал ее звонкий девичий голос.

— Этого товарищ не касается. Молотилку с приводом нам, Дуняша, скоро представят. Уже отгрузили, — поспешил на выручку Зеркалов.

— Каких же, случайно, систем мины пришлось вам разоблачать, товарищ гвардии старший лейтенант? С сюрпризом тоже находили?

— А ты бы сходил сам и посмотрел. У самого-то душа струсила!

— Что вымудрил!

— Еще вопросы задает! Тоже нашелся член английского парламента! — не удержался Иван Лукьянович.

— Своя рубаха слишком близко к телу прилип-

ла, никак не отдерет.

— А еще фронтовиком числится!

И дернула же Страчуна нелегкая задать этот вопрос! Сидел бы себе и помалкивал. Вот ведь суматошный мужик!

Зеркалов унял страсти, и Левашов ответил:

— Всех мин оказалось шестьдесят семь, из них восемнадцать с сюрпризами. Пятьдесят четыре противотанковых, остальные — противопехотные.

После Страчуна вопросы задавать не решались, и собрание закрылось на том, что постановили назвать школу именем Алексея Скорнякова и послать об этом бумагу в райисполком.

— И пусть каждую осень, — предложил дед Анисим, — как только внучата в школу соберутся, придет в класс Иван Лукьянович, Зеркалов Андрюша или другой сто́ящий человек из фронтового сословия, — пусть вместо первого урока расскажет внучатам про Великую Отечественную войну и про Алексея Скорнякова, который покоится в нашей земле. И пусть внучата наши и правнуки стоя прослушают рассказ про нашего героя…

Дед Анисим троекратно широко перекрестился.

10

Весь следующий день Левашов вместе с Иваном Лукьяновичем объезжал колхозные владения. Они осмотрели вновь отстроенную МТФ[4], заехали на лесную дачу, где заготовляли строевой лес, побывали на току. Женщины отдыхали, но тут же снова принялись за работу, взяв в руки еще не остывшие цепы.

Наблюдая согласное мелькание цепов, Левашов вспомнил сапера Гордиенко, бойца своего взвода.

Гордиенко был родом с Полтавщины, любил рассказывать о тополях, белых мазанках, вишнях и на Смоленщине чувствовал себя неуютно, сиротливо. Как-то, лежа рядом с Левашовым в воронке, Гордиенко взял щепоть смоленской земли, растер ее между пальцами и печально сказал:

«Дюже бедная земля, дюже бедная! Но поскольку она — радяньска, надо ее швидче отвоевывать...»

Воскресить бы этого Миколу Гордиенко и привести сюда, на колхозный ток!

---

[4] Примечания: 4
МТФ — молочно-товарная ферма.

«Конечно, — думал Левашов, шагая вслед за Иваном Лукьяновичем к таратайке, — колхоз не может похвалиться какими-нибудь рекордными урожаями, о которых пишут в центральных газетах. Земли здесь и в самом деле незавидные, тощие, все больше суглинок и супесь. Но говорят, что лен и картошка их любят и рожь тоже мирится. Вот ведь и эта земля щедро отплачивает человеку за его труд!»

Иван Лукьянович поехал прямо по стерне. Он держал путь на дальние поля, которые пустовали с 1941 года.

Лицо земли было обезображено страшными шрамами, отметинами. Траншеи, окопы, воронки, противотанковый ров сделали непригодной эту пашню, и она попала под злое владычество сорняков.

Иван Лукьянович встал на таратайке во весь рост, из-под ладони оглядывая брошенную пашню.

«Еще не раз, — подумал Левашов, сидя в таратайке и покуривая, — лемех плуга наткнется здесь на осколок, не раз жатка заденет о стрелянную гильзу».

Как бы угадав его мысль, Иван Лукьянович сказал:

— Сколько эту землю копали и перекапывали саперными лопатками! Сколько она в себя пуль и осколков приняла! Я так думаю, что вряд ли найдется за границей такая земля. Ни в одной стране столько народу от фашистов не пострадало, сколько на Смоленщине совместно с Белоруссией.

Иван Лукьянович замолк, и видно было, что мыслями он далеко от этого поля.

— А вот такой вопрос! — оживился он. — Предположим, фашисты напустили бы тогда туману, высадились десантом на берегах Англии и начали там воевать. Пошли бы английские джентльмены со своими леди в партизаны, как наши люди, или не пошли бы? То-то же!

Он с размаху плюхнулся на сиденье, так что таратайка под ним жалобно заскрипела, и дернул вожжи.

Они вернулись в деревню поздно вечером, и Левашов лег спать, не зажигая лампы.

Когда Левашов утром проснулся, то увидел на классной доске пожелание: «Спокойной ночи!» — и ему сразу показалось, что он выспался сегодня, как никогда.

Во всех избах и землянках шли после уборки урожая праздничные обеды, и каждый день в

школу за Глебом Борисовичем засылали послов. Его зазывали то на помолвку, то на новоселье, то просто так, на пирушку. «Свадебный генерал в звании старшего лейтенанта запаса», — трунил Левашов над собой.

В новые избы, остро пахнущие смолой, опилками, замазкой, олифой, люди по привычке входили, как в блиндаж, пригнувшись, но тут же со спокойной уверенностью выпрямлялись.

— Вот вы заметьте… — говорил Зеркалов, сидя за столом в кругу семьи и потчуя гостя. — Солнце идет на ущерб, дело к сентябрю. А для нас, новоселов, наоборот, будто дни стали длиннее. Встречаем солнышко пораньше и провожаем попозже, чем в землянке.

Зеркалов оказался совсем молодым парнем, белолицым и опрятным. Гимнастерку, по армейской привычке, он носил с белым подворотничком. И только темные веки с въевшейся, как у шахтера, угольной пылью и руки, которые, видимо, нельзя было отмыть добела, выдавали в нем кузнеца…

Но что бы ни говорил Зеркалов, каждый день приносил все новые и новые приметы осени.

Солнце уже допоздна не высушивало росы. Трава на лугу, усталая трава, не дождавшаяся ко-

сарей, начала вянуть. Первая желтизна внезапно появилась на зябких березах-неженках. Только самые ретивые купальщики, и среди них Павел Ильич, продолжали заплывы к омуту. Костяника прогоркла и опала. На могиле Алексея Скорнякова начали осыпаться цветы. В рощах и перелесках запахло грибами и подгнивающими листьями.

Елена Климентьевна готовилась к началу занятий, а Левашов, скорчившись за партой, прилежно зубрил все то же «Сопротивление материалов».

Павел Ильич и Санька не слишком надоедали, но все-таки частенько появлялись в скрипучих дверях класса. Санька то звал на рыбную ловлю («Ох и клюет здорово!»), то приглашал купаться («Ох и вертит вода у того вертуна!»), то зазывал в лес по грибы («Ох и грибов на той опушке!»).

— А почему бы нам, в самом деле, не отправиться сегодня по грибы? — предложила Елена Климентьевна.

— Я вам покажу опушку, где одни белые растут. Страсть! — выпалил Санька.

— Без тебя найдут, — сказал Павел Ильич и выразительно посмотрел на Саньку. — Мы бы пошли, Глеб Борисович, да хлопот много на огороде.

Санька посмотрел на приятеля круглыми от удивления глазами, но промолчал…

Елена Климентьевна и Левашов набрели в конце концов на очень грибное место. Подосиновики в красных, ярко-желтых, оранжевых, малиновых, светло-коричневых картузах тут и там виднелись из травы. Мух уже не стало, но мухоморы в своем крикливом ядовитом наряде в крапинку торчали повсеместно.

Грибы Левашов собирать не умел: то срывал поганки, то растаптывал семейства лисичек, считая их несъедобными. Елена Климентьевна потешалась над ним. Косынка упала ей на плечи, волосы слегка растрепались. Она то и дело испуганно поправляла прическу.

— А что смешного? Где я мог эти грибы искать? Во дворе на Красной Пресне? В пионерском лагере? Так я там от футбольного поля не отходил. На даче? Там грибы просто боятся расти…

Елена Климентьевна слушала его плохо.

— И зачем я только ездила на эту спартакиаду? Будто и бегать, кроме меня, никто не умеет! Сколько бы мы с вами за это время погуляли, сколько поговорили, а может быть, помечтали…

— Знаете что? Приезжайте следующим летом в Москву. У нас в Сокольниках тоже грибы растут.

Елена Климентьевна даже не улыбнулась.

— Приезжайте лучше вы сюда на зимние каникулы. На лыжах походим.

— Согласен! А еще лучше… Знаете что? Приезжайте в Москву зимой. Школьные каникулы все-таки раньше студенческих. Хоть на несколько недель, а раньше. С матерью вас познакомлю, с сестрой. По театрам походим.

Елена Климентьевна посмотрела Левашову в глаза и сказала:

— Хорошо.

11

Иван Лукьянович вызвался сам отвезти гостя на станцию. Он уже сидел в таратайке, поджидая Левашова, и размышлял: «Удобно ли попросить его прислать карту Балканского полуострова? От денег он, конечно, откажется. А вдруг карта дорого стоит? Все-таки человек живет на стипендию».

Левашов вышел на школьное крыльцо, забросил чемоданчик в таратайку, с испугом взглянул на солидную корзину с маслом и медом — это на дорогу-то? — и стал прощаться со всеми по очереди. Тут были Никитична, седоволосая женщина, которая так интересовалась семьей Скорнякова, Зеркалов, весь черный, только что из кузницы, Павел Ильич с Санькой, еще несколько ребятишек и Елена Климентьевна.

Санька стоял грустный, а Павел Ильич пытался принять безразличный вид. Он чаще, чем обычно, подтягивал локтями своенравные галифе и поправлял вылинявшую пилотку.

— Значит, тебе, Санька, что прислать?

— Книжку.

— Какую же?

— Хорошо бы, дяденька, про птиц, про зверей, про растения. И чтобы картинок побольше.

— Найдем и с картинками. А тебе, Павел Ильич, игрушку, что ли, прислать? Например, заводной мотоцикл?

Павел Ильич пропустил шутку мимо ушей, считая ее неуместной.

— Мне, Глеб Борисович, про партизан книжку. Картинки — это необязательно. Только чтобы потолще…

— Буду искать потолще.

Последней, с кем распрощался Левашов, была Елена Климентьевна.

Левашов держал в своих ладонях горячую руку Елены Климентьевны, а она не торопила его ни взглядом, ни жестом.

Он сбежал с крыльца и впрыгнул в таратайку, тяжело скрипнувшую рессорами и плетеным кузовом.

Иван Лукьянович натянул вожжи своей огромной ручищей — казалось, ему ничего не стоит порвать их.

— Там, за околицей, на минутку сойду. Попрощаться с товарищем.

Иван Лукьянович понимающе кивнул, нахмурился и сильно дернул вожжи, так что лошадь с

места пошла крупной рысью.

Провожающие стояли на крыльце и махали: кто рукой, кто пилоткой, кто голубой косынкой. И только Санька не вытерпел и, сверкая пятками, более черными, чем земля, бросился вдогонку за таратайкой по ее пыльному следу.



Наследство



Как всегда, казалось, что все осколки, сколько их ни есть, свистят близко-близко, у самого уха.

Иные действительно просвистели совсем рядом, но Третьяков все-таки благополучно пробежал по заснеженной мостовой, исклеванной минами, завернул за угол и добрался до командного пункта батальона.

Он постоял на ступеньках лестницы, отдышался, а затем спустился в подвал. Потолок не

позволял Третьякову вытянуться во весь рост. Но и стоя в неудобной позе, ссутулившись, он по-строевому пристукнул сапогами, отдал честь комбату и отдернул руку так резко, будто обжег ее о каску.

Комбат сидел в плюшевом кресле с картой на коленях. Адъютант стоял за высокой спинкой кресла и держал огарок свечи.

— Второй номер савельевского расчета, — отрекомендовал кому-то комбат Третьякова.

Третьяков приосанился.

— А это, — продолжал комбат, обращаясь к Третьякову, стоявшему навытяжку, — сержант Приходько. Ваш новый командир.

Из темного угла шагнул человек в мятой закопченной шинели, туго перехваченной ремнем, и в ушанке с оторванным ухом.

Третьяков козырнул, но при этом довольно бесцеремонно оглядел сержанта с ног до головы и, судя по выражению лица, остался осмотром недоволен. Как-то не внушали доверия тонкие руки и застенчивый румянец на безбородом, почти юношеском лице.

— Ну что же, бой не ждет. Бывайте живы и здоровы, — заторопил их комбат. — А вам, Приходько, я доверил не простой пулемет. Наследство

Савельева! Вся дивизия знает. Так что славу Савельева не уроните, не запачкайте.

Приходько молча откозырял, ни в чем не заверил комбата и не дал ему никаких обещаний.

Третьяков еще раз недружелюбно осмотрел сержанта, его ушанку с оторванным ухом и молча, не оборачиваясь, направился к выходу.

Третьяков шел не спеша, не забегал при близких разрывах под своды ворот, в подъезды домов. Он прошел с полквартала и обернулся.

Приходько послушно следовал за ним, ничем не обнаруживая страха. Был ли он в самом деле равнодушен к опасности или не хотел ударить лицом в грязь перед вторым номером?

«Подумаешь, герой! Что он, от осколков застраховался, гуляет? Тоже нашел себе парк культуры и отдыха! — все больше раздражался Третьяков. — Был бы хоть званием постарше. Такой же сержант! И что им приспичило? Четыре дня без Савельева воевал, ничем, слава богу, не проштрафился. И вдруг — пожалуйста! Ходи тут по самому пеклу взад-вперед. И главное, еще неизвестно, что это за птица такая. Может, мы пустой билетик вытянули? Я ведь тоже, слава богу, не первый день за пулеметом. Рядом с Савельевым сколько пролежал…»

Третьяков шмыгнул в ворота углового зеленого дома. Пулемет стоял в кондитерской, уставив ствол прямо в разбитую зеркальную витрину. Когда не вели огня и запах пороха и горелого масла не заглушал все остальные, в кондитерской вкусно пахло ванилью, тмином и еще чем-то соблазнительно-аппетитным…

Третьяков представил командиру подносчиков расчета Горбаня и Кривоносова.

— Первый подносчик савельевского расчета рядовой Горбань! — торжественно и громогласно объявил Третьяков. — Был ранен вместе с Савельевым Тимофеем Васильевичем. Остался в строю. А вот второй подносчик савельевского расчета, рядовой Кривоносов.

Кривоносов смотрел на нового командира с благодушным любопытством, Горбань — недоверчиво, выжидательно.

Приходько был доволен тем, что попал в знаменитый расчет. Но в том, как Третьяков представлял ему товарищей, как подчеркивал их близость к Савельеву и как охотно произносил эту фамилию, Приходько почувствовал желание уязвить его.



«Лучше бы мне воевать в другом расчете!» — с горечью подумал Приходько, но не подал виду, что обижен.

Он поздоровался с подносчиками и спросил про обстановку.

Из окна кондитерской хорошо просматривалась улица, уходящая к площади с кирхой. Бой перекинулся в район площади, и пулеметчикам пришло время менять огневую позицию.

Приходько тотчас ушел вперед, а расчет с «максимом» двинулся следом по тротуару. На ступеньках подъездов лежал нетронутый снег, будто дома были давно необитаемы.

Третьяков поджидал с расчетом под сводом ворот крайнего дома, выходящего фасадом на площадь. Площадь была в наших руках, но с кирхи еще строчил вражеский пулемет.

Вскоре Приходько вернулся, взял две гранаты и, не вдаваясь в объяснения, принялся надевать на себя неизвестно где добытый белый халат. Он туго подпоясался, подвесил гранаты и сказал просто:

— Ну, я пойду вместе с разведчиками повоюю.

— Может, и мне податься? — предложил Третьяков.

— Я один.

Командир взвода разведчиков одобрил план Приходько. Под прикрытием дымовой завесы надо было добраться до паперти, ворваться в кирху и блокировать фашистских пулеметчиков на колокольне.

Приходько долго не возвращался, и Третьяков начал по-настоящему беспокоиться, хотя и притворялся рассерженным:

— Что же он там думает? Весь день будем загорать в этих воротах?

Когда Приходько вернулся, халат его был в грязно-рыжих пятнах, ушанка стала оранжевой от кирпичной пыли, лицо — в подтеках от грязного пота.

— Можно двигаться, — сказал Приходько, не вдаваясь в подробности.

Третьяков сгорал от любопытства, но решил ни о чем не расспрашивать.

Горбань напялил на Приходько каску поверх порыжевшей ушанки.

— Савельева, Тимофея Васильевича, головной убор, — пояснил Горбань.

Приходько опустил каску ниже на глаза и зашагал вперед. Расчет благополучно добрался до кирхи, около которой, чуть ли не на самой паперти, стояла будка телефона-автомата. Высокие

черные двери кирхи были распахнуты.

Приходько показал на колокольню.

— Это на такую верхотуру лезть? — спросил Третьяков и подчеркнуто резко запрокинул голову, так что каска съехала на затылок.

— Обязательно, — подтвердил Приходько, занятый пулеметом; он даже не повернул головы.

Третьяков разочарованно свистнул и принялся ворчать так, чтобы Приходько его слышал:

— На земле уже места нету. Наверх переезжаем. Только жалко, парашютов не выдали — обратно сигать оттуда, с колокольни. А то лифт, наверно, не работает!

Третьякову была по душе эта дерзкая затея, но ворчал и зубоскалил он всегда. А сейчас Третьяков был еще обижен, что командир не нашел нужным с ним посоветоваться, как это делал Савельев.

Приходько не обратил внимания на болтовню Третьякова, тем более что тот уже впрягся в пулемет и потащил его по крутой витой лестнице. Кривоносов подталкивал «максим» сзади.

Третьяков перевел дыхание, кивнул наверх, где за изгибом лестницы скрылся Приходько, и сказал:

— Все-таки дело понимает.

Кривоносов никак не откликнулся на эту похвалу. То ли не понял, к кому она относится, то ли вконец запыхался и ему было не до разговоров.

Приходько, пригнувшись, пролез в узкую дверь на чердачок. Такая же дверь вела отсюда на площадку, где висели колокола. Скошенные грани потолка делали помещение еще более тесным, и только посредине чердачка можно было стоять не согнувшись.

Приходько выбил стекло рыльцем пулемета и установил его в слуховом окошке. Горбань по его приказу отбил сбоку несколько кирпичей. Приходько долго вглядывался в панораму города, открывшуюся его взору, высчитывал что-то с карандашом в руках, записывал на стене и наконец, довольный, залег за щитком.

— Отсюда и до царствия небесного недалеко, — сказал Третьяков, осмотревшись.

Он сразу же заинтересовался телефоном, стоящим в углу.

— Работает! — вскричал он в восторге. — Немцы по-своему лопочут! Алло! Это я говорю, Третьяков. Гитлеру капут! Понятно? И вам капут. Вер, вер… Надо слушать ухом, а не брюхом. Третьяков, Семён Петрович. Вер… вер… Дело твое. Хочешь — верь, хочешь — не верь. Ну и чёрт с тобой, глу-

хая тетеря! — Третьяков с раздражением бросил трубку и отер пот со лба. — Это же нервы надо иметь с этими немцами! Публика, доложу я вам. «Здоро́во, кума!» — «Купила петуха…»

Подносчики хохотали во все горло. Приходько не перебивал Третьякова, но, когда тот бросил трубку, сразу подозвал Кривоносова:

— Возьмите вот эту запасную катушку с проводом. На углу за бензиновой колонкой перережьте провод. Подключите катушку и ползите по тому переулку, где горит танк, к нашим. Найдите КП батальона. Пусть связисты подключат нас к комбату. Понятно?

— Понятно, — неуверенно ответил Кривоносов.

Он боялся что-нибудь напутать и заранее виновато хлопал глазами.

— Смотри, Кривоносов! Непременно дотяни нитку до комбата, — вмешался Третьяков. — Правда, телефон-автомат внизу стоит. Но, сам понимаешь, звонить оттуда неудобно. Каждый раз бегать вниз! Да и мелкой разменной монеты нету…

— Где ее найдешь, мелкую монету? — подтвердил Кривоносов. Он вообще не понимал шуток.

Из окошка, вознесенного на высоту восьмого

этажа, открывался великолепный вид. Сейчас, в послеполуденный час, снег на крышах был только чуть светлее неба. Отчетливо виднелись антенны на крышах ближних домов. Острый шпиль ратуши на горизонте был подобен огромному штыку, воткнутому в серое небо. Кое-где из труб поднимались дымки: печи в опустевших квартирах еще не успели остыть.

Широкая улица, идущая от площади прямо на запад, простреливалась очень хорошо. Неуязвимый для пулемета узкий переулок соединял улицу с мостом через реку. Мост также простреливался хорошо.

На мосту и на северной набережной столпились вражеские орудия, машины, повозки, и первая очередь Приходько подняла страшный переполох.

Третьяков лежал рядом и смотрел в бинокль. От восторга он сквернословил, кричал: «А ну, дай им жизни!», не глядя, привычным жестом расправлял ленту, чтобы ее не перекашивало, и опять сыпал ругательствами.

Горбань стоял сзади на коленях и терпеливо ждал хоть какой-нибудь информации, но потом не выдержал и принялся бить Третьякова между лопаток:

— Ну что там, Семён Петрович? Что?

Третьяков не слышал вопросов, не чувствовал ударов тяжелого горбаневского кулака размером с солдатский котелок.

Нужно сказать, что Приходько был выдающимся пулеметчиком и прежде славился своим искусством во всем партизанском крае от Лепеля до Бегомля, Плещениц и Зембина. Петрусь Приходько пришел в партизанский отряд «Мститель» еще подростком. Он сразу был приставлен к пулемету и не расставался с ним в лесах и в болотах три года, а потом, когда попал в Красную армию, прошел с пулеметом Белоруссию и Литву.

У партизан он научился спокойной злости в бою, молчаливости, стал злопамятным. И в Восточной Пруссии каждый фашист представлялся Петрусю карателем.

Приходько мог бить из пулемета одиночными пулями, как из винтовки; короткими очередями, будто под рукой у него вовсе не станковый пулемет, а автомат; наконец, когда дело доходило до длинных очередей, он в совершенстве вел огонь с рассеиванием в глубину или по фронту.

К тому моменту, когда Третьяков заложил четвертую ленту, на мосту творилось что-то невообразимое. Повозки, орудия, лошади, машины,

люди — все это громоздилось безжалостной грудой, завалившей мост поверх перил.

Приходько отвел прищуренный глаз от прицела и в изнеможении откинулся назад. Горбань припал к пулемету. Третьяков показал ему рукой в сторону моста; оба замерли.

— Переживать некогда, — деловито сказал Приходько. — Нас наверняка засекли. Скоро дадут сдачи. Воды, ленту!

За неимением воды Горбань, кряхтя и сокрушенно вздыхая, налил в кожух трофейного пива, которое притащил из какой-то ближней пивнушки.

Вообще он отличался удивительным умением все и вовремя доставать, за что Савельев прозвал его интендантом. Горбань и внешне был похож на кладовщика или на повара — полысевший, грузный, с плечами, которым тесно в любой шинели. Он поправлялся даже в госпиталях и оба раза после ранений возвращался оттуда цветущий, как из дома отдыха.

Горбань, который казался увальнем, был очень расторопен, все делал ловко, умело. Вот и сейчас он быстро подготовил пулемет, и Приходько обрушился огнем на набережную, а потом принялся «подметать» широкую улицу. Бой за кварталы

между площадью и мостом был в самом разгаре.

Приходько часто и нетерпеливо оглядывался на дверь — где же Кривоносов?

Наступал торопливый январский вечер, в предвечерних сумерках стал виден огонь, который трепетно бился на жале пулемета. Приходько боялся, что батареи противника обрушатся на кирху до того, как он сообщит комбату их ориентиры и успеет прокорректировать огонь своих пушек.

Донесся слабый писк зуммера. Третьяков подскочил к телефону:

— Товарищ одиннадцатый! Докладывает сержант Третьяков. Из савельевского расчета.

«Опять савельевский! — с обидой подумал Приходько. — А я, выходит, сбоку припеку. Что это он: по привычке или нарочно?»

— Находимся на колокольне, — продолжал докладывать Третьяков, полагая, что говорит с капитаном. — Наблюдаем, товарищ одиннадцатый!

— Что же ты меня, братец, в звании снижаешь? — послышался в трубке добродушный бас. — Какой же я тебе «одиннадцатый»? За что это? Тем более город вот берем… Нехорошо, братец! Это Шабалов говорит, большой хозяин.

Алло!..

Третьяков не сразу нашелся что ответить генералу и передал трубку Приходько. Значит, Кривоносов опять что-то напутал…

— Он бы еще к маршалу подключился! На прямой провод! — прошептал Третьяков.

— А вы не смущайтесь, — донесся тот же добродушный бас. — Что в пономари определились — молодцы! К заутрене звонить фашистам не будем. Прямо на панихиду. Что интересного увидите — расскажите. Я ведь старик любопытный. А пушкари мои — тем более…

Приходько едва успел сообщить генералу о пробке на мосту, как мимо колокольни просвистел, примеряясь, снаряд, за ним второй, и тут же, казалось, наступил конец света.

Колокольня качнулась, оголенные стены, мгновенно сбросившие с себя штукатурку, едва устояли. Пол на какую-то долю секунды выскользнул из-под ног, но тут же снова стал устойчивым.

Приходько отбросило от телефона к лестнице. Третьяков проехал с пулеметом на середину чердачка. Горбань, стоявший на коленях, стукнулся головой об пол, будто в молитвенном рвении начал класть поклоны. Тяжелый медный гул потревоженных колоколов стоял в ушах.

— Первый звонок! — мрачно объявил Третьяков. — Опять попали в вагон для некурящих.

Кривоносов, появившийся вскоре на чердачке, сообщил, что снаряд вырвал угол башни под ними и несколько ступенек лестницы.

Когда кирпичная пыль осела, Приходько снова лег за пулемет. Город был освещен заревом горящих домов. Пожары спорили с наступающей темнотой, так что наперекор вечеру становилось все светлее.

Загорелись дома за ратушей, и острый шпиль ее стал теперь виден в оранжевом небе совсем отчетливо.

— Вниз можно пройти? — спросил Приходько, не отрываясь от пулемета.

— Проберемся! — весело ответил Горбань, выглянув вниз, на лестницу.

В глубине души он был очень доволен, что командир решил наконец покинуть эту проклятую колокольню. Пора, давно пора сменить огневую позицию!

— Так вот, Горбань. Отправляйтесь за пивом. Тут еще войны на весь вечер. Связь тоже проверьте.

Приходько раскраснелся, глаза смотрели с юношеским задором, но слова и жесты были

спокойны и медлительны не по возрасту.

«Ну-ну! — залюбовался Горбань. — Характером не уступит Савельеву. Тоже заводной!»

Горбань быстро подавил шевельнувшееся в нем желание уйти от опасности. Его снова охватил азарт боя.

— А Кривоносов, — продолжал Приходько, — пусть сходит за патронами. Дорогу в батальон знает. Только вот что: трассирующих не брать. А то нас ночью сразу причешут. Понятно?

— Значит, заметных не брать? — переспросил встревоженный Кривоносов. — Брать, которые незаметные?

— Вот именно.

Кривоносов постоял и беззвучно пошевелил губами, заучивая приказ.

Подносчики пересекли площадь, свернули на знакомую улицу и пошли посередине мостовой, чтобы не промочить валенок. Снег на тротуарах возле горящих домов и на крышах стаял, из водосточных труб хлестала горячая вода.

Горбань набрал этой воды в бидон. Идти в пивную было уже незачем, и он отправился с Кривоносовым за патронами, опасаясь, как бы тот чего не напутал.

Вновь пошел снег. Он шел вперемешку с

дождем жалящих искр, и белые снежинки, подсвеченные заревом, тоже казались искрами. У горящих домов снежинки таяли в чадном, удушливом воздухе.

Угловой дом с кондитерской тоже был объят пламенем. Огонь выбивался из окон, балконных дверей, словно ему тесно стало в доме. Еще недавно пламя было одноцветным, а сейчас в густом сумраке стали видны все его оттенки — от слепяще-белого до черно-багрового.

— Есть от чего прикурить! — сказал Горбань и зло усмехнулся.

Кривоносов сокрушенно вздохнул, остановился перед домом с кондитерской и поднял голову, защитив лицо локтем, как это делают сталевары, когда подходят к огнедышащему окну мартена.

— Огнем горит город! — сказал Кривоносов и вздохнул. — Горит, а тушить некому.

— Пусть горит! — сказал Горбань жестко. — Не жалко! А наших городов Гитлер мало спалил? Взять у нас, в Локотне. Из сорока дворов три убереглись от огня. И то на выселках стояли.

Кривоносов не решился спорить с Горбанем, но опять вздохнул и уставился на горящий дом с явным сожалением.

На патронном пункте, удобно расположившем-

ся в вестибюле какого-то особняка, оба до отказа нагрузились коробками. Горбань, в прошлом волжский грузчик, взвалил на себя вдвое больше, чем щуплый Кривоносов.

— Куда вам столько? Не дотащите… — усомнился старшина.

— Нам много требуется, — солидно объяснил Горбань. — Сами знаете: савельевский расчет. На усиленном боевом питании. Сейчас тоже подходящий хлопец командует. Приходько, из партизанского сословия. Слыхали про такого?

— Нет, не слыхал.

— Не слыхали? Вот дает фашистам жизни! Пожалуй, не хуже Савельева…

Обратный путь был еще труднее. Горящие головни летали вокруг, на улице совсем по-весеннему журчали ручейки. Воздух обжигал дыхание. Горбань и Кривоносов обливались по́том, мгновенно высыхавшим от жары. Горбань только щурился и продолжал нести свою тяжелую ношу, не замедляя шага.

На площади было прохладнее, темнее и снег шел гуще — снежинки не таяли на лету.

Горбань запрокинул голову и увидел на колокольне несколько новых пробоин. Снаряды ударили выше чердачка. У Горбаня возникло

ощущение неловкости, будто он намеренно оставил товарищей под огнем, а сам под благовидным предлогом улизнул.

Приходько продолжал работать, очереди его гремели над площадью.

«Наверно, запасной ствол достали. Один ствол такой стрельбы не выдержит. Чешут и чешут!» — подумал Горбань.

Догадка его была правильна.

Вскоре после ухода подносчиков в кожухе выкипело пиво, его долили еще раз. Потом Приходько, огорченный и злой, откинулся от пулемета: раскаленный ствол требовал отдыха.

И тогда Третьяков достал какой-то продолговатый сверток, завернутый в белую тряпку, развернул и вытащил оттуда ствол «максима». Белая тряпка оказалась, к удивлению Приходько, нательной рубахой.

— Тимофея Васильевича рубаха! — сказал Третьяков почтительно. — Он за этим запасным стволом как за младенцем смотрел.

Третьяков быстро установил этот запасной ствол, а старый, разгоряченный боем, завернул в ту же рубаху. Потом бережно взял на руки теплый сверток и отнес в угол.

Приходько молча приник к пулемету. Он бла-

годарил мысленно человека, которого не знал и который выручил его в бою.

Запасной ствол работал безотказно, очереди снова загремели над притихшей площадью, и Горбаню внизу слышно было, как стеклянная дверь будки телефона-автомата отзывалась пулемету жалобным дребезжанием.

Горбань подождал отставшего Кривоносова и начал уже подниматься по каменным ступеням, но не успел ступить на паперть, как над его головой прошелестел снаряд и внезапная сила разрыва потрясла колокольню.

Куски кирпича упали на каменные плиты паперти и на широкие ступени. Горбань взглянул вверх, но ничего не разглядел за кирпичной пылью. Пулемет замолк, и, когда это дошло до сознания Горбаня, он что-то крикнул Кривоносову и бросился в кирху. Острое предчувствие несчастья сжало сердце.

Значит, конец? Нет больше пулемета, нет Третьякова и этого нового командира, Приходько, которого он встретил так недоверчиво и которого уже полюбил? Еще днем он про себя называл Приходько мальчишкой, а сейчас в тревоге подумал, что Приходько ему в сыновья годится. Куда же девать патроны и бидон с водой? Бросить? Тащить

обратно? А он уже мысленно так обстоятельно доложил Приходько о выполнении задания: «Доставлено четырнадцать лент. Трассирующих не брали». Он сам, не доверяя старшине и Кривоносову, проверил все коробки. Как же теперь с патронами?

Горбань понимал, что тревожится о пустяках, это его сердило, но мысль все время возвращалась к патронам, воде — он боялся подумать о другом.

В первое мгновение Горбань не узнал чердачка. Снаряд вышиб кирпичи рядом с окошком, разворотил амбразуру. Отсветы пожара освещали покатые стены и пол. Приходько лежал в углу, Третьяков — у пулемета, отброшенного к задней стене. Смятый пулемет стоял в пивной луже, пиво в отверстии кожуха пенилось и пузырилось.

Горбань упал на колени, склонился над Приходько и начал его ощупывать и тормошить.

— Отзвонились — и с колокольни долой, — подал голос Третьяков. — Командир живой?

— Оглушило.

— Командира вниз несите. А я тут полежу, отдохну. Лестница-то как, цела? Потом сам спущусь.

Он не знал еще, что ноги у него раздроблены выше колен.

Приходько пришел в себя на паперти. Он пытался что-то сказать, но только помычал и покорно замолк, удрученный внезапной немотой. Он снял каску и показал Горбаню вмятину на ней. Тот покачал головой и сказал:

— Спасибо Тимофею Васильевичу!

Горбань спохватился, подтянулся и доложил о выполнении задания, но тут же убедился, что Приходько не слышит.

Подносчики бережно снесли Третьякова вниз и положили на паперти. Снег под ним быстро потемнел от крови. В сумерках казалось, что снег растаял.

Горбань еще три раза взбирался на чердачок. Сперва он принес патроны и ствол, завернутый в рубаху Савельева. Ствол еще не остыл, рубаха хранила его тепло, как тепло человеческого тела. Потом Горбань приволок вдребезги разбитый станок пулемета. И ни к чему он был сейчас, но бросать пулемет наверху не хотелось, это было бы неуважением к подвигу товарищей, к оружию.

Оружие на войне живет своей трудной жизнью, полной опасностей. Оно, как человек, завоевывает свою репутацию, свою славу. Оно — бессмертный свидетель воинских подвигов, судья поведения человека в бою. Оружие переда-

ется по наследству, его завещают, им награждают, оно становится источником гордости…

Третьяков очнулся и увидел Кривоносова. Попытался усмехнуться, но усмешки не получилось. Гримаса боли исказила его лицо, румяное от пожара.

— А насчет меня печалиться нечего, — сказал он, собравшись с силами. — Только Верочку я свою подвел… Обещал жениться — и вот…

Потом он начал бредить, называл Приходько Тимофеем Васильевичем, все пытался отдать какой-то рапорт, сыпал ругательствами и шептал: «Дай, дай им жизни…»

Третьякова похоронили на рассвете у подножия кирхи, среди чужих крестов и могильных плит, покрытых снегом и присыпанных битой черепицей, щебенкой и кирпичной пылью.

Приходько нужно было отправляться в санчасть, но он подождал, пока выроют могилу, и бросил первую горсть земли. Он снял каску, за ней ушанку с оторванным ухом и поднял руку, собираясь сказать прощальные слова.

— Вечная слава герою савельевского расчета! — произнес Приходько с трудом, запинаясь на каждом слоге.

Видно было, что попытка говорить причиняет

ему физическую боль. Он махнул рукой, отошел в сторону и, подкошенный головокружением, упал на снег.

Комбат Механошин, с рукой на перевязи, в шинели, оранжево-рыжей от кирпичной пыли, тоже пришел на кладбище. Горбань вытянулся и, приложив к каске огромную ладонь, отрапортовал:

— Пулеметный расчет Приходько, бывший Савельева, задачу выполнил! Понесли потери в живой силе и технике.

Комбат Механошин передал всем благодарность генерала, сообщил о наградах, о суточном отдыхе, который предоставлен подносчикам, и о том, что Горбань назначен вторым номером расчета. Комбат пообещал прислать за пулеметом и патронами. Бережно придерживая Приходько здоровой рукой, комбат увел его с собой в санчасть.

И строгая, не внушающая доверия тишина чужого города обступила двух людей на пустынной площади. Только откуда-то издалека доносилась приглушенная канонада.

— Похоже, весь город освободили, — сказал Кривоносов, прислушиваясь.

— Скажешь тоже — освободили! Разве ихние города освобождают? Завоевали — и всё. Тут стес-

няться нечего! — строго сказал Горбань.

Он чувствовал себя теперь командиром, говорил с Кривоносовым начальственным тоном, то и дело отдавал ему какие-то распоряжения. Горбань делал это с особенным удовольствием, как человек, всю войну проходивший в рядовых, который сам никогда в жизни не отдавал приказаний, а только привык их выполнять.

Горбань и Кривоносов поселились в гостиной богатой пустой квартиры. У каминных часов еще не кончился завод, часы прилежно тикали и на следующий день проводили постояльцев мелодичным звоном. Перед уходом Горбань перевел стрелки на два часа вперед, чтобы часы показывали московское время.

Город уже остыл, только в нескольких местах не унимались пожары. Многие дома обрушились, и улицы, лишенные тротуаров, были сжаты в тех местах каменными торосами. Улицы походили на замерзшие реки в крутых каменистых берегах.

Всюду видны были страшные раны и ожоги города. Фасады разрушенных домов стояли, как театральные декорации, а позади них — скрученное огнем железо, головешки, расплавленное стекло, черная щебенка, уголь.

Улица была пустынна и мертва. Почтовые ящики набиты письмами, которым суждено остаться без ответа. Безмолвны антенны, связывающие трубы сгоревших домов. Нелепы вывески бывших магазинов. Жалки фашистские лозунги, намалеванные на стенах и заборах. Пусты автоматы — продавцы сигарет. И один только флюгер на высоком шпиле ратуши добросовестно продолжал указывать направление ветра. Маленький бронзовый всадник, венчающий флюгер, как бы стремился сорваться со шпиля и ускакать с попутным ветром в дымное небо.

У контрольного пункта за ратушей Горбань решил дождаться попутной машины, чтобы скорее догнать полк.

— А вы что за люди? — заинтересовался лейтенант, начальник контрольного пункта. — Из какой части?

— Второй номер савельевского пулеметного расчета! — представился Горбань. — Может, слыхали? И в газетах писали.

— Нет, не слышал.

— Ну как же! Потом сержант Приходько тем пулеметом командовал. Знаменитость! Слыхали?

— Нет, не слышал.

— И про Приходько не слыхали? — удивился

Горбань. — Как же это?

Он даже отступил на шаг от собеседника. Горбань хотел сказать всем своим видом и тоном: «Что же это вы, дорогой товарищ? Пеняйте на себя. Ничем помочь не могу».

В кузове полуторки Кривоносов уступил Горбаню место на покрышке запасного колеса, и тот принял услугу как должное. Горбань сел, а белый длинный сверток положил подле себя на колесо.

Они миновали угловой дом с кондитерской, где впервые увидали Приходько, проехали ворота, под которыми ждали его, миновали площадь и кирху с могилой Третьякова у ее подножия. Пулемета на паперти уже не было: комбат сдержал слово.

Кирха осталась далеко позади, а Горбань и Кривоносов продолжали молча смотреть на колокольню, на ее изуродованную верхушку.

Машина вырвалась из каменной тесноты городского предместья. По сторонам дороги, сколько доставал глаз, лежали поля серого снега. Снег, покрытый копотью и сажей, напоминал пепел.

— Пора и нам за дело приниматься, — сказал Кривоносов.

— За делом и едем, — наставительно ответил Горбань. Он чувствовал себя обязанным наследо-

вать все традиции расчета и поэтому, очевидно, усвоил манеру Третьякова разговаривать. — Или, думаешь, курорт для тебя на берегу моря открыли? Как же, держи карман шире! Курорт! Не забудь на диету попроситься.

— Зачем на диету? Что дадут, то и будем кушать, — миролюбиво и серьезно ответил Кривоносов.

Горбань ничего не сказал. Он с головой закутался в плащ-палатку, прячась от леденящего, порывистого ветра. Оба сидели за кабиной машины, но ветер все-таки дул им в лицо. Чехол «катюши», шедшей следом за полуторкой, был выгнут, как тугой парус.

Ветер дул со стороны города. Он выдувал пепел и золу с пожарищ, он нес с собой навязчивый запах гари.



Где эта улица, где этот дом



Генерал дал отпуск всем четырем саперам, подорвавшим мост.

Мельничук уехал куда-то на Полтавщину. Скоморохов — в Вологду, Гаранин подался в городок Плёс, лежащий на Волге, а Вишняков заявил, что едет в Смоленск.

— Ну куда ты поедешь? — пытался отговорить его взводный Чутко. — Человек ты одинокий…

— «Одинокий», «одинокий»! — передразнил

Вишняков. — Может, у меня родные в Смоленске проживают. Откуда ты знаешь?

— Насчет родных ты, конечно, заливаешь, но отговаривать больше не стану. Сам пожалеешь.

— Все едут, один я сиди на месте! Раз отпуск дан, значит, имею полное право уехать! — ворчал Вишняков, укладывая вещевой мешок.

Насчет родни Вишняков соврал, но оставаться очень не хотелось: что он, хуже других, что ли? А кроме того, Вишнякову показалось, что взводный отговаривает его от поездки с умыслом: не хочет остаться без помощника, боится лишних хлопот.

— Не найду родичей — могу сразу обратно податься, — сказал Вишняков, уложив в мешок сухой паек.

При этом он примирительно протянул взводному пачку «Дели» — подарок генерала.

И только когда Вишняков взгромоздился на попутную машину и полк остался далеко позади, его начали одолевать сомнения. Может быть, Чутко прав? Какой смысл мытариться несколько суток и вернуться более одиноким, чем прежде!

Чем дальше он отъезжал от полка, тем сиротливее и неуютнее чувствовал себя в кузове чужой машины.

Смоленск встретил его толкучкой у желез-

нодорожного переезда. По обе стороны путей толпились машины. Все нетерпеливо поджидали, пока маневровый паровозик, страдающий старческой одышкой, угомонится и перестанет шнырять взад-вперед, как казалось всем шоферам, без толку и без всякого смысла.

Шоферы давали гудки, иные пассажиры нетерпеливо покрикивали на стрелочницу у шлагбаума. Вишняков достал кисет и спокойно стал сворачивать самокрутку. Торопиться ему было некуда.

Потом он слез с машины, чинно поблагодарил шофера и не спеша направился в город. Он шагал по тротуару, старательно обходя бело-голубые лужи, в которых отражалось апрельское небо.

До этого Вишнякову довелось побывать в Смоленске раз в жизни, полгода назад, когда их батальон первым вступил в заречную часть города. Дивизия их носила с того дня название Смоленской, и Вишнякову, когда он собирался в дорогу, казалось, что по одному этому он будет чувствовать себя в городе как дома.

Но сейчас мимо него шли чужие люди, которым не было никакого дело до приезжего. Все торопятся, все озабочены, все сосредоточенно смотрят себе под ноги, боясь оступиться в лужу

на разбитом тротуаре, который тянется вдоль разрушенных домов.

Вишнякову казалось, что вот он пройдет эту искалеченную улицу — и за ней наконец-то начнется настоящий город. Но квартал за кварталом оставался позади, а живой, невредимый город все не показывался: те же руины, те же пустые каменные коробки, выстланные внизу черным, нетающим снегом.

В такой погожий день пешеходы обычно держатся поближе к краю тротуара: каплет с крыш и льет из водосточных труб. Но в этом городе с крыш не каплет и трубы всегда сухи, потому что крыш нет.

Вишняков запрокинул голову. Бело-голубое небо смотрело на него из проемов в стене. На высоте третьего этажа повисла кровать, скрученная огнем, а рядом прилепилась к стене печь в белых изразцах. Люди всегда тянутся к теплу, кровати всегда жмутся к печам, и вид обугленной кровати у холодной навеки печи заставил сжаться сердце.

Оттого что дома были разрушены и небо смотрело из окон, улица казалась просторнее, чем была на самом деле.



Дорога шла в гору. Как будто бы Вишняков проходил здесь в день боя, но тогда улица не показалась ему столь крутой. Он вспомнил, что шел тогда с полной выкладкой — с винтовкой, с миноискателем, — и день был теплее, чем сейчас, и уйму верст отмахал он за день, а не устал: в горячке любая горка покажется отлогой, любая тропка — прямой.

Он дошел до углового дома, где висел пустой и ржавый обод от уличных часов. Когда-то часы смотрели с этого перекрестка в три циферблата.

Проходил ли Вишняков здесь в тот день? Точно он не знал, но пустой обод часов показался ему знакомым. Он еще подумал тогда, что, наверно, раньше у этих часов кавалеры и барышни назначали свидания.

Вишняков завернул за угол, осмотрелся. Не здесь ли они втроем с Чутко и Скомороховым разминировали мостовую? Ну конечно! Вот на этом перекрестке они нашли под булыжником мину замедленного действия.

Он пошел знакомым путем вдоль тихого переулка, стоявшего в голых ветлах. Где-то здесь, в этих местах, Вишняков, помнится, спас от взрыва ветхий домик. Фашисты заминировали его, пока жильцы пережидали бой в погребе. Вишняков

отчетливо вспомнил половицы в комнате — они были шаткие, такие же, как ступеньки крыльца. Одну мину он извлек из печки, другая должна была взорваться, как только стронут с места чайник, голубой чайник в черных пятнах там, где сбита эмаль.

Но вот где эта улица, где этот дом? И каков он с виду, этот дом, обойденный огнем? Вишняков поравнялся с домиком, стоящим в глубине двора. Неужели это он, такой неказистый? Помнится, и тот дом стоял, прислонившись к раскидистой ветле, и такой же вот хилый забор тянулся под окнами.

Он постоял минуту, потом махнул рукой и пошел дальше. Но чем больше он удалялся, тем острее было любопытство и желание вернуться — желание, которое вскоре стало мучительным, непреоборимым. «Все равно придется к кому-нибудь попроситься поисдеть, отдохнуть», — подбодрил себя Вишняков.

Он вернулся, поднялся по шатким ступенькам на крыльцо и постучался. Дверь открыла светловолосая девушка в джемпере.

— Разрешите, хозяйка, отдохнуть с дороги, — попросил он.

Девушка смерила незнакомца строгим взгля-

дом и не слишком приветливо, торопливо сказала:

— Ну заходите.

Вишняков робко, как-то боком, протиснулся в дверь, вытер ноги, потом уселся на краешке стула и принялся развязывать свой вещевой мешок.

— Вы что же, смоленская? — спросил Вишняков.

— Да.

— Значит, земляки.

— А вы где тут жили?

— Зачем жили! Мы воевали в этих местах. Дивизия наша Смоленская.

— Вот как, — откликнулась она равнодушно. Вид у нее был такой, точно она хотела сказать: «Пустили в дом — и скажи спасибо. А развлекать разговорами каждого прохожего я не собираюсь, и легких знакомств тут искать нечего».

Вишняков то и дело посматривал на печку, а потом уставился на знакомый голубой чайник в черных отметинах.

Девушка перехватила его взгляд, нахмурилась и поджала губы: «И чего засматривать в чужую печку? Вот возьму и не угощу чаем! Не будет другой раз нахальничать».

— А когда за Смоленск война шла, тут жили?

— Мама и сестренка — здесь. Я в деревне у тетки пряталась.

— Дела-а! — неопределенно протянул Вишняков и опять внимательно посмотрел на печку.

Он все ждал, что девушка предложит ему снять шинель и тогда увидит, что человек он заслуженный, гвардейского роду-племени и при наградах, а не какой-нибудь замухрышка. Но девушка ничего не сказала, занятая шитьем и своими мыслями; в ее молчании проскальзывало немое ожидание: когда же непрошеный гость уйдет и оставит ее в покое?

В комнате было тихо, и только на печке, собираясь вскипеть, тонко пел чайник. Вишняков еще раз посмотрел на чайник, вздохнул и принялся убирать сахар, хлеб и сало в вещевой мешок.

Девушка сидела не поднимая головы; судя по всему, она была всецело занята шитьем, но Вишняков заметил, что она смотрит на пол. Следы его сапог были видны отчетливо на тех самых, памятных ему половицах.

— Наследил я тут у вас, — виновато сказал Вишняков. — Вытирал-вытирал ноги, а все-таки вот…

— Пустяки, — сказала девушка, но при этом опять повела бровями и нахмурилась.

Вишняков наскоро собрался и сказал, вставая:

— Не смею задерживать. Премного благодарен.

Он обиделся, а потому был сейчас подчеркнуто вежлив.

— Пожалуйста, — сказала девушка, но в слове этом не было сердечности.

Она встала, отложила шитье и пошла проводить гостя — просто торопилась закрыть за ним дверь.

Выйдя на крыльцо, Вишняков церемонно раскланялся и зашагал через двор. У забора, на тротуаре, свободном от снега и уже высохшем, играли дети. Девочка в белом капоре и ватнике, который заменял ей шубенку, пристально посмотрела на Вишнякова, вскрикнула и со всех ног кинулась к нему:

— Дяденька, не уходите! Я вас знаю!

Девочка ткнулась лицом в закопченную шинель, обняла ручонками его колени, и от этого сердце Вишнякова сразу сладко и остро заныло. Он погладил девочку по голове осторожно, будто боялся помять или испачкать капор.

— Откуда ты меня, девочка, знаешь?

— А вы тот самый дяденька, который мины искал. Забыли? Мы с мамой стояли и ждали. Потом сахар дали… Забыли?

— Нет, помню.

— Люба, наш дяденька нашелся! — закричала девочка, все еще держась за шинель. Держалась она самыми кончиками пальцев: ей мешали непомерно длинные рукава ватника. — Идемте к нам, дяденька, к нам! Мама узнает — вот обрадуется!

Вишняков обернулся и увидел, что девушка в джемпере стоит на пороге: то ли она все время следила за ним, то ли выбежала на крик. Он успел заметить, что девушка в джемпере очень похожа на девочку в ватнике.

— Я уже к вам заходил! — сказал Вишняков девочке по возможности весело.

Но девочка не слушала и тащила его к дому.

— Это тот самый наш дяденька! С минами!

Он упирался, но не слишком сильно, и скоро, смущенный, оказался лицом к лицу с еще более смущенной Любой. Она взялась за вещевой мешок, который он продолжал держать, и сказала огорченно:

— Что же раньше не сказали? Теперь краснеть заставляете.

— Еще наслежу опять…

— А вы, оказывается, злопамятный! Ну, простите меня…

Люба потянула к себе вещевой мешок, но Виш-

няков его не отдавал.

— Откуда я знала, что вы «тот самый дяденька»? — сказала она мягко, но тут же перешла в наступление: — И вообще вы сами виноваты! Да, да, сами! Вошел, как к чужим. Такой молодой, а скрытный!.. Нехорошо. Знаете, что с вами за это надо сделать?

— Нет, — улыбнулся Вишняков. — Не знаю. Что-нибудь страшное?

— Наказать вас надо, вот что! Вот возьму сейчас и расцелую вас за мамашу, за Алёнушку и за себя! Тогда узнаете! Ну, ну, не бойтесь, не буду! На первый раз я вас прощаю.

И прежде чем Вишняков нашелся что ответить, она решительно отобрала у него вещевой мешок, взяла из рук ушанку. Вишняков так и остался стоять посреди комнаты и от растерянности начал приглаживать рыжевато-золотистый чуб.

Лицо у него было открытое, слегка скуластое и все в веснушках. К таким лицам идут светлые глаза и курносые носы. У Вишнякова же нос был прямой, чуть с горбинкой, а глаза темно-карие.



Алёнушка первая догадалась протянуть дяденьке гребенку, а через минуту вскарабкалась к нему на колени и принялась рассказывать о каких-то происшествиях во дворе. Дяденька слушал ее так внимательно, будто специально приехал, чтобы узнать все подробности про дворовых щенят. Алёнушка водила пальчиком по лучам Красной Звезды, жмурилась от удовольствия и лепетала что-то о своих делах.

Вишняков чаще всего видел на войне детей с лицами озабоченными, как у взрослых, с глазами в морщинках, с поджатыми губами: эти дети видели в жизни столько страшного, что разучились плакать, их трудно чем-нибудь испугать. Алёнушка же сохранила драгоценную ребяческую наивность, в больших голубых глазах ее светилась доверчивость.

Потом пришла из школы Анна Фёдоровна. Она увидела гостя, обмерла и осталась стоять в дверях, прижимая к груди пачку ученических тетрадей.

— Вы? Боже мой! Вот это радость! — воскликнула Анна Фёдоровна еще с порога. — Ну, идите, родненький, я вас обниму.

Вишняков шагнул навстречу; они обнялись и расцеловались.

— А со мной, мама, Василий Яковлевич не хотел

так здороваться! — сказала Люба смеясь. — Хорошо, что ты пришла. Я тут совсем было гостя обидела.

Анна Фёдоровна опять принялась вспоминать, как они тогда бежали с Алёнушкой по улице, после того как весь день просидели в соседском погребе, и как обрадовались, когда увидели, что дом цел. Но какой-то красноармеец остановил их во дворе строгим окриком и даже погрозил палкой с обручем и коробочкой на конце. Красноармеец осторожно вошел в дом, долго там пропадал, а когда вышел на крыльцо — вынес в каждой руке по черному железному диску. Он небрежно бросил на землю у крыльца мины и сказал:

«Теперь можно занимать квартиру. А то бы, пожалуй, напились чайку — сразу на всю жизнь...»

Алёнушка тащила огромный, с нее ростом, узел, куклу, зеркало, и дяденька помог ей внести узел в дом, а уходя, угостил сахаром, чтобы не плакала.

— А я все время думала почему-то, что вы старше, Василий Яковлевич, — сказала Анна Фёдоровна, пододвигая Вишнякову тарелку с дымящейся картошкой.

— Это я в копоти был и небритый, — объяснил Вишняков поспешно, как бы оправдываясь...

Назавтра Вишняков пошел пройтись вдвоем с Алёнушкой. Ничего в городе не изменилось со вчерашнего дня, но руины уже не так бросались в глаза. Только когда Вишнякову примелькалась картина всеобщей разрухи, он увидел приметы и признаки новой жизни. Эта жизнь пробивалась сквозь тлен, прах и пепел, как молодая трава сквозь щебень.

Судя по дымкам из труб, люди жили в подвалах сожженных домов, а кое-где и в комнатах, которые чудом сохранились в разрушенных домах. Витрины бывших магазинов заделали кирпичом, оставив лишь оконца размером с форточку, и за этими оконцами тоже жили люди. На необитаемом доме висел почтовый ящик; почтальон подошел к нему и высыпал письма в мешок. Связисты сидели верхом на перекладинах телеграфных столбов и подвешивали провода.

Вишняков вышел на берег Днепра и вспомнил, как он переправлялся через реку в ту сентябрьскую ночь. Отступая, фашисты взорвали мост посредине и подожгли его у обоих берегов. Пламя спускалось по сваям к са́мой воде. Казалось, кто-то воткнул светильники прямо в реку. Вода внизу была в трепещущих багровых пятнах и, когда огонь касался ее поверхности, тушила сваи.

Сваи и стропила моста тоже были багровыми, отсветы пожара тревожно лежали на черной реке, и чудилось, что это струится кровь.

Сейчас при въезде на мост стояла регулировщица, бойкая толстушка с сиреневыми щеками. Поворачиваясь, она щегольски притопывала каблуками на гулком настиле моста и взмахивала желтым флажком так ловко, что Вишняков засмотрелся.

Василий с Алёнушкой перешли через мост на ту сторону и потолкались на базаре. Вишняков взял крынку молока и случайно купил у мальчика большой красно-синий карандаш. На покупки ушла вся солдатская зарплата, но это Вишнякова не смутило: деньги ему не нужны, он даже отвык от них и с удовольствием истратил свои сбережения.

Когда они переходили улицу, Вишняков брал девочку за руку. Машины проходили редко, но ему приятно было держать Алёнушку за доверчивые и нежные пальчики, которые прятались глубоко в рукаве ватника.

Через четыре дня Вишнякова провожали в обратный путь. Анна Фёдоровна была на уроках, но Люба пропустила занятия в техникуме и пошла проводить гостя до контрольного пункта за

городом, где фронтовики поджидают попутные машины.

Алёнушка тоже хотела проводить дяденьку.

— Далеко, устанешь, — сказала Люба.

На контрольном пункте они долго стояли вдвоем, ждали попутной машины, и каждый втайне был очень доволен, что машины этой все нет и нет.

— Адрес наш записали? — спросила Люба.

Вишняков от досады хлопнул себя по лбу:

— Забыл! Найти — найду, а адреса не записал.

Люба испуганно всплеснула руками и сама записала адрес на каком-то клочке бумаги.

— Ну что же, попрощаемся, — сказала Люба, когда долгожданная машина все-таки подошла. — За маму, за Алёнушку, а это за себя!

И они троекратно поцеловались.

Вишняков вспрыгнул на колесо, легко перемахнул через борт. Машина тотчас же тронулась с места, но Люба успела ему вручить сверток. Вишняков уже знал, что это пирожки с капустой. Два пирожка он отложил и отдал их по приезде взводному Чутко.

— Это откуда же такой подарок?

— От родни моей, из Смоленска.

— А я, грешник, и в самом деле думал, что

никого у тебя нет. Просто хочет проехаться и выдумывает.

— Сроду не выдумывал, а тут вдруг…

— Ну, прости, если обидел, — сказал Чутко, дожевывая пирожок.

— То-то же, — примирительно сказал Вишняков.

С некоторых пор он стал ждать почтальона с нетерпением, которое раньше было ему незнакомо. Вскоре пришло письмо от Любы. В тот же конверт вложила свой рисунок Алёнушка — красный домик с перекошенными окнами, которые упираются под самую крышу; невероятно синий дым валил из красной трубы.

— А это чья же работа? — полюбопытствовал Чутко, засматривая Вишнякову через плечо.

— Дочка моя, Алёнушка, прислала, — соврал, пряча улыбку, Вишняков.

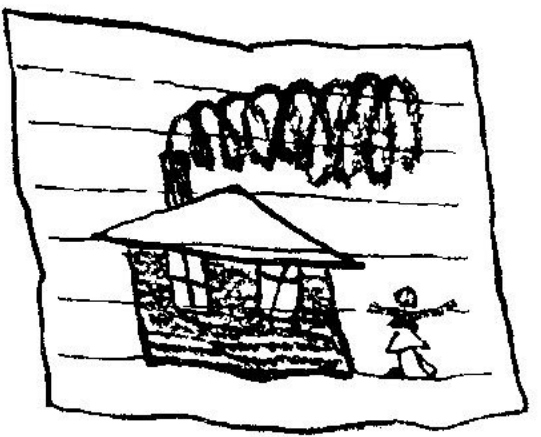
— А я и не знал, что дочка у тебя имеется в наличии. Сколько же ей?

— Семь.

— Скажи пожалуйста! Вот не думал, что такая дочь у тебя взрослая. Хотя я, грешник, тоже рано женился…

Вишняков бережно хранит бумажку, на которой Люба записала адрес. Правда, бумажка

эта совсем истрепалась, так что на ней нельзя разобрать ни названия улицы, ни номера дома. Но какое это имеет значение, если Вишняков помнит адрес наизусть и хорошо знает, где эта улица, где этот маленький дом у раскидистой ветлы, родной дом, в котором теперь очень часто по милым шатким половицам неслышными шагами бродит его солдатская мечта о семье и о счастье...



Новоселье
(из цикла «Служили два друга»)



Бойцы ступают по голубым лужам, в них отражается просторное майское небо. Снега не видно. Он сохранился только в воронках от бомб и в заброшенных окопах по сторонам дороги — подточенный вешней водой, черный снег.

По́лы у обоих путников подоткнуты. Ноги чуть ли не по колено в дорожной грязи, злой и при-

липчивой. За плечами — винтовки и вещевые мешки, за поясами — топоры.

Нелегко шагать по весенней грязи, когда распутица сделала дорогу непроезжей и непроходимой, как будто отодвинула верстовые столбы один от другого.

До деревни Высоково саперы добредают, когда солнце уже над головой.

Деревня сожжена дотла. Черные остовы печей указывают, где стояли дома. Изгородями огорожены квадраты голой земли. Во всей деревне сохранилось два дома и несколько бань. У домов стоят полуторки и автофургон, забрызганный грязью до крыши шоферской кабины. Наверно, народу в оба дома набилось битком.

— Лучше на солнышке посушимся, — говорит в раздумье сапер, который ростом повыше.

Он сворачивает с дороги, открывает калитку и ступает дальше по пустырю, к печи, стоящей под открытым небом.

Через несколько минут печь растоплена. Сизый дым поднимается вверх, в голубое вымытое небо. Саперы сидят рядом на теплых камнях; разулись, сушат портянки, сапоги; кипятят в котелке воду.

— Весна, — неопределенно замечает низенький красноармеец, щурясь на солнце. — Весна,

товарищ сержант, в полной форме.

Сержант ничего не отвечает и тоже щурится на солнце.

Воздух будто процежен, и столько в нем свежести, что люди вдыхают его с наслаждением.

Усердное, работящее солнце припекает. Теплый пар поднимается от земли.

Слышится щебет и гомон скворцов. Их нетрудно узнать по черному оперению с зеленоватым отливом, по клюву и прямому короткому хвосту. Сержант Мохов видит скворцов в луже. Они бьют крыльями по голубой воде, будто плавают в ней, будто не крылья у них — а плавники, не оперение — а черная чешуя.

Скворцы сидят на перекладине пустых ворот, не ведущих никуда, на плетне, на дымоходе разрушенной печи, на обугленной березе.

Сейчас все деревья голы, и береза, опаленная огнем, ничем не выделяется на общем фоне. Но грустно будет смотреть на уродливые черные ветви летом, когда соседние деревья зашумят зеленой листвой.

Шумно махая крыльями, скворцы перелетают с места на место, приземляются на сухой бугорок. Птицы ходят по земле слегка пошатывающейся походкой, потом вновь взлетают. По всему видно

— скворцы не могут найти себе места.

— И пташку нашу он обидел, не только человека, — печально замечает Хлястик — так в саперной роте прозвали красноармейца Петра Хлестова.

— От него больше ничего ждать не приходится, — отзывается сержант Мохов.

Собеседники не называют фашистов иначе как «он» и произносят это слово с брезгливой злобой.

— Пташка летела из дальней местности, надеялась на свою квартиру. А «он» все нарушил, все огнем сжег. Вот шест стоит — без последствий…

И Хлястик указывает на обугленный вверху шест. На нем, по-видимому, был скворечник.

Хлястик суетливо достает из мешка кусок хлеба и бросает крошки на подсохший пригорок. Скворцы шумно машут крыльями, ступают по теплой земле, клюют крошки сильными прямыми клювами.

— Сказывают, скворцы зимой в Африке проживают, — замечает Мохов неуверенно.

Нельзя понять, спрашивает он или утверждает.

— Подумать только, откуда прилетели! Из африканских мест! — удивляется Хлястик. — Прямо как по радио… Прилетели пташки домой, а дома

нет. Уж «он» постарался! И птицы теперь вроде беженцев.

Неожиданно Хлястик вскакивает, вытягивается босой около печи — на ней сушатся сапоги и портянки — и говорит:

— Разрешите, товарищ сержант, сколотить скворешню! Пока амуниция сохнет.

— За счет положенного отдыха разрешаю, — говорит Мохов и после небольшой паузы добавляет, сразу меняя тон: — Пожалуй, я тоже поплотничаю…

Саперы достают топоры, находят полусгоревшие дощечки, которые зимовали в углях, в пепле, и принимаются за работу. Топоры летают, как птицы, голубое небо отражается в полированных полосках лезвий, и по тому, как спорится работа в умелых руках, видно, что плотники очень соскучились по такой работе.

Все последние месяцы они рубили лес для завалов, укладывали в три бревна накаты для блиндажей, строгали колья для проволочных заграждений. А хочется построить что-нибудь на долгие годы, срубить, к примеру, новый дом, чтобы в деревне опять запахло дымом, да не горьким дымом пожарища, не смрадной гарью, а запахом очага, теплого человеческого жилья.

Вскоре оба ящичка готовы. Найдены в золе обгоревшие гвозди. Хлястик, не обувая сапог, карабкается на березу и пристраивает скворечник на ее верхушке. Мохов укрепляет его на шесте. Скворечники установлены по всем правилам — обращены летками на юг.

И сразу же поднимается гомон и щебет. Идет распределение жилплощади по каким-то таинственным птичьим законам. Пернатые старожилы здешних мест справляют новоселье и суетятся при этом совсем как люди. Мохов долго и внимательно смотрит на птичью возню.

— Ну вот, — говорит он, — пташек под крышу определили. Придет время — для народа дома срубим. Еще какие крылечки понаделаем, ставни, лавочки!.. Чтобы издали признавали гвардейскую работу. Здесь знаешь какой лес кругом! Строевой! Мачты можно для кораблей рубить! Древесина в смоленских лесах богатейшая!

Хлястик ничего не говорит, но по всему видно, что думает он о том же.

Саперы кладут топорища на плечи и отправляются в путь. Они ступают по голубым лужам, и майское солнце горит на лезвиях топоров.



Второгодник



Прежде всего я увидел золотую лестницу, приставленную к стене напротив. Лестница вытягивалась, слегка сужаясь, все выше, а затем в фантастическом крутом изломе потянулась по потолку. И скоро два сияющих шеста, скрепленные такими же ступеньками, повисли где-то над моей головой.

Не знаю, сколько прошло секунд, минут, часов,

прежде чем я догадался, что лестницу образовали лучи солнца. Они проникли сквозь щели ставен и оставили на стене свой ослепительный причудливый отпечаток.

Лучи были подобны золотым копьям, пронзившим насквозь темноту. В каждом луче кишмя кишели просвеченные пылинки.

Надо мной склонилась женщина в белой косынке, низко надвинутой на глаза. Чужим, незнакомым голосом я спросил у нее: «Который час?», хотя уместнее было бы спросить: «Какое сегодня число?» Как выяснилось потом, я пролежал без сознания несколько суток подряд.

Последнее, что я помнил, — это сверкающий, режущий глаза снег и колючая проволока перед самым лицом. Резкие тени ложились на снег, и от этого казалось, что проволока вдвое гуще, чем на самом деле.

У меня возникло ощущение, что я лежу очень неудобно, — это была еще не осознанная боль. Едва я попробовал пошевелиться, как тут же, затаив дыхание, замер, настигнутый внезапной острой болью.

Может быть, я даже собирался встать и пойти, потому что спросил у сестры: «Какой это этаж?», хотя опять-таки уместнее было бы спросить:

«Какой это город?»

Выяснилось, что госпиталь находится в моем родном городе, где я жил, учился, и от одного этого вся палата — окна, стены, двери, застекленные наполовину, так что видно было, кто в них заглядывает, — все показалось мне давным-давно виденным, знакомым чуть ли не с детства. Но особенно знакомыми были ребристые ставни с поперечными щелями.

Во время бомбежек санитары всех нас укладывали на носилки и торопливо несли вниз, в подвал. И, странное дело, в то время, когда меня несли по длинному коридору, а потом по лестнице, я мог поклясться, что уже бывал здесь, что все это хорошо мне знакомо.

Я поделился своими ощущениями с соседом по палате, чернобородым великаном, которому на койке было тесно, как на боковой полке жесткого вагона в поезде.

— Ничего удивительного, — сказал сосед. Он лежал пластом и говорил не шевелясь, не поворачивая головы. — Такое и со мной бывало. Мне и сейчас чудится, что лежу в той самой палате, где лежал в августе. Хотя тот госпиталь был в Калуге, а там теперь немцы…

На операцию, а затем на перевязки нас возили

на высоких белых тележках. Однажды перевязочная была переполнена, и меня оставили в коридоре, у окна. На дворе стояла поздняя осень, и мне с тележки хорошо видны были иззябшие клены, наполовину растерявшие оранжево-красную листву. И снова клены эти и высокий кирпичный забор с башенками показались мне знакомыми.

— На какой улице находится госпиталь? — спросил я после перевязки у сестры Танечки.

За много недель я ни разу не видел Танечку без глухого халата, без косынки, низко надвинутой на глаза, так что даже не знал, какие у нее волосы, какой лоб.

— Я ведь нездешняя, точно не знаю. Но кажется, на углу Пролетарской и Московской.

От неожиданности я резко приподнялся на локтях, но боль в ноге быстро меня усмирила.

— Что с тобой, сынок?

Танечка всех, даже моего соседа, называла сынками.

— Так, ничего особенного… В своей школе лежу. Учился в этом самом классе. Только сидел в другом углу, у окна.

Теперь я уже точно знал, куда выходят наши окна и что я увидел бы, подойдя к ним; знал, что перевязочная находится в учительской.

Танечка не удивилась — может быть, не нашла в моих словах ничего особенного; может быть, просто устала после дежурства и ей было не до того.

Я попросил Танечку узнать, не работает ли в госпитале кто-нибудь из школьных служащих. Хоть бы одна знакомая душа объявилась! В родном городе одиночество чувствовалось острее, чем где-нибудь в другом месте.

Танечка не забыла о моей просьбе, и еще до вечернего обхода меня проведал школьный сторож Петрович, который теперь работал истопником.

Он почти не изменился, сварливый и добрый Петрович. Те же усы с проседью, тот же бурый ежик, тот же хриплый громоподобный голос. Выправка старого солдата угадывалась и под халатом.

Петровича боялись только первоклассники — и то лишь в начале учебного года, пока они не убеждались, что за этим страшным рычанием, заставлявшим дрожать стекла, не следует ровным счетом ничего плохого.

Я смотрел на Петровича, прямо сидящего на табурете у моей койки, и думал: «Сколько раз он открывал тяжелую парадную дверь перед завтрашними школьниками! Они еще не доставали

головой до ручки двери и приходили с папой или мамой. Сколько раз он широко открывал перед выпускниками дверь в новую жизнь!» Кое-кто из выпускников забывал на радостях попрощаться со стариком, но таких было мало.

Петрович вглядывался в меня пристально и долго. Сперва он не узнал меня совсем, затем ему стало неловко и он притворился, что вспомнил, а к концу свидания вспомнил и на самом деле.

— А помнишь, Петрович, как ты меня в учительскую водил? Когда мы в футбол играли и разбили стекло. А в другой раз отобрал мяч. Правда, на следующей перемене отдал обратно…

— Стекло есть государственное имущество. Стекло денег стоит, — сказал Петрович и погрозил мне узловатым обкуренным пальцем.

Он говорил таким тоном, будто только сегодня на большой перемене я разбил мячом это самое стекло. Некстати напомнил я Петровичу о стеклах, он сразу помрачнел:

— Сколько теперь этого стекла неприятель погубил! Еще хорошо, что вторые рамы были в подвале спрятаны. А то бы вы тут замерзли. От температуры все выздоровление зависит. Котельная — самое важное место. Истопник — он врачу первый помощник.

Вот точно так же Петрович важничал в дни экзаменов. Он ходил с загадочным видом, будто наперед знал, какая будет тема русской письменной и какие каверзные уравнения припас нам математик Корней Кондратьевич.

— А из учителей никто в городе не остался?

— Юлия Иннокентьевна живет. Только она хворает. Ее в бомбоубежище недавно чуть насмерть не засыпало. Семёнов Тимофей Семёнович остался, физик. Он, сказывали, в какой-то лаборатории работает. Раньше на той фабрике гребешки дамские делали, игрушки, елочные украшения, а теперь насчет гранат стараются. Так сказать, тыл на помощь фронту. А во дворе, в учительском флигеле, Корней Кондратьевич проживает. Он теперь тоже к госпиталю относится. Сидит внизу наподобие регистратора, легких раненых принимает.

Математик Корней Кондратьевич, по прозвищу Корень Квадратный, был, пожалуй, самым строгим учителем. Я не мог его упрекнуть в несправедливости, но отношения у нас были прохладные, потому что с математикой я всегда был не в ладах. При окончании школы Корень Квадратный едва-едва наскреб мне тройку. Эта проклятая тройка испортила весь мой аттестат, и

если бы не война, мне пришлось бы при поступлении в вуз сдавать все экзамены. Но, повторяю, Корень Квадратный ко мне никогда не придирался, виноват был во всем я сам.

В противоположность Петровичу, Корней Кондратьевич узнал меня, еще стоя за стеклянной дверью, и уверенно направился к моей койке. Седая голова, очки, белый халат делали его похожим на старого врача.

— Что же вы, голубчик, — спросил он, бережно пожав мне руку, — всерьез захромали?

— Это я симулирую, Корней Кондратьевич. Боюсь, как бы вы меня к доске не вызвали. Бином Ньютона я ведь так и не осилил…

Корней Кондратьевич не улыбнулся и озабоченно начал расспрашивать меня о ранении, о фронте.

Я состоял на батарее вычислителем и все время имел дело с цифрами. А «привязать цели» или «подготовить огни» — это значит почти каждый раз решить сложную математическую задачу, причем решить быстро и безошибочно. Попал я в вычислители случайно. Командир батареи капитан Ласточкин узнал, что я только что со школьной скамьи, и сказал, усмехнувшись: «Среднеобразованный? Вот и будете вычисли-

телем. Вы все эти синусы и косинусы назубок должны знать». Язык не повернулся сказать, что с математикой у меня дело швах. Я поневоле стал вычислителем, но увлекся своим делом. «Вот бы Корень Квадратный удивился, узнав, что я попал в математики!» — думал я тогда на батарее.

И вот я лежу и рассказываю обо всем этом Корнею Кондратьевичу.

Он стал навещать меня ежедневно после обеда, и я скучал, если он опаздывал или не приходил вовсе в дни, когда госпиталь принимал много раненых.

Я медленно поправлялся, и, может быть, самым верным признаком выздоровления был зверский аппетит, несвоевременный в ту голодную зиму.

Мне предстояло провести в госпитале несколько месяцев. Корней Кондратьевич взял меня на «книжное довольствие», но однажды, вручая томик Короленко, сказал:

— Это всё. С художественной литературой вы покончили. Всю мою полку перечитали. Остались одни учебники.

Прочел я рассказы Короленко, а потом попросил Корнея Кондратьевича принести какой-нибудь задачник. Я все-таки твердо решил вернуться в строй, найти свою батарею и занять место вы-

числителя. Корней Кондратьевич недоверчиво покачал головой — он помнил мою вражду с уравнениями и теоремами, — но просьбу исполнил. Назавтра он принес, к моему удивлению, сборник арифметических задач.

— В таких случаях, голубчик, надо начинать с арифметики.

Не в этом ли старом задачнике Евтушевского Корень Квадратный выискивал задачи, приводившие нас в трепет на экзаменах?

Я уже полулежал на подушках и мог понемногу заниматься. Во всяком случае, это было менее утомительно, чем ничегонеделание.

По-прежнему в городе, иногда по нескольку раз в день, объявляли воздушную тревогу, но в палате узнавали об этом, только когда начинали бить зенитки и где-то падали бомбы. Во время артиллерийского обстрела снаряды свистели над крышей, и все невольно втягивали головы в плечи, а потом где-то поблизости (или так всегда казалось) снаряд разрывался — и школа содрогалась всеми своими стенами, перекрытиями, лестницами, оконными рамами, дверьми.

Врачи и санитары ходили осунувшиеся, похудевшие, все работали и воевали на голодный желудок, а задачник Евтушевского жил своей

сказочной и сытой жизнью.

Купцы покупали друг у друга меры зерна, пуды риса и какое-то совершенно невероятное количество голов сахару и цыбиков чаю. Купцы вели какие-то сложные операции с черным и синим сукном. Из двух пунктов, А и Б, навстречу друг другу в разное время, как бы нарочно для того, чтобы сбить с толку школьников, выходили путешественники, которые в довершение всех бед еще шли с разной скоростью. В бассейны вели трубы, и если по одним вода туда втекала, то по другим трубам она зачем-то в это самое время вытекала. Таинственные берковцы, унции, золотники, драхмы и скрупулы не давали мне покоя даже ночью, и даже ночью на память я принимал участие в дележе какого-то наследства.

До сих пор помню эту кляузную историю с наследством. «Некто, — говорилось в задаче, — завещал двум своим сыновьям и племяннику 53 400 рублей, с тем чтобы часть старшего относилась к части младшего, как $5/_7$: $5/_8$, а часть младшего сына к части племянника, как $5/_6$: $1/_3$. Но племянник умер ранее раздела наследства, и его часть перешла к сыновьям завещателя. Как они должны разделить между собой эту часть, чтобы не нарушить воли завещателя?»

И я так живо представлял себе и умирающего старика, и племянника, не дожившего до наследства, с такой отчетливостью запомнились все условия завещания, будто сам я был одним из наследников или вел тяжбу из-за этого наследства.

Потом, когда с арифметикой было покончено, я под присмотром Корнея Кондратьевича взялся за алгебру и геометрию. Если я что-нибудь плохо усваивал, Корней Кондратьевич оживлялся. Он начинал доказывать теорему или выводить формулу с таким жаром, будто сидел не у больничной койки, а стоял у классной доски. Только тогда было видно, как он истосковался по урокам, по ученикам. При каждой моей ошибке Корней Кондратьевич, по старой привычке, ужасался и отстранялся от меня руками, будто защищаясь. И я вспомнил, как, стоя у доски, он в таких случаях даже отступал на шаг от ученика.

Но, в общем, Корней Кондратьевич был доволен моими успехами и удивлялся, что раньше я так плохо у него учился.

— Ведь у вас какая беда была? Основы арифметической не было! Поэтому-то я с вами весь год мучился. Или вы со мной мучились — как вам больше нравится. А попадись вы мне в руки хотя бы в седьмом классе! Да я бы из вас, голубчик,

Пифагора сделал!..

Весной я уже подходил к окнам на костылях и подолгу смотрел на бледно-зеленые, отощавшие за зиму клены, смотрел пристально, будто хотел подглядеть, как именно лопаются почки и расправляются новорожденные листики. Кто долгие месяцы лежал в госпитале, не подходя к окну, поймет меня.

Все увереннее ходил я на костылях и уже предпринимал прогулки по коридору и даже спускался по лестнице к Петровичу, который, в связи с окончанием отопительного сезона, вновь занял старое место в вестибюле, у вешалки. Только теперь на Петровиче был белый халат.

Никогда не забыть первых шагов, сделанных без костылей! Я ступал по палате от койки к койке, испуганно хватаясь за все, что попадалось под руку, но все-таки ступал самостоятельно.

Все — и раненые, и сестра Танечка — следили за каждым моим шагом. А сосед мой, чернобородый великан, у которого была ампутирована нога, заплакал. Вчера еще оба мы равно были «костыльниками», а сегодня я, счастливчик, шагаю, а он всю жизнь будет неразлучен с костылями или с протезом.

В середине июня я прощался с госпиталем. В

день, когда я, бросив никчемные костыли, уходил с вещевым мешком за плечами, я вторично стал выпускником.



— Как раз год назад вы, голубчик, у меня на выпускном экзамене чуть не провалились. Помните? — спросил на прощание Корней Кондратьевич.

— Я бы на вашем месте и тройки не поставил, — сказал я совершенно серьезно. — Пришлось самому во второгодники записаться.

Мы оба посмеялись и расстались такими друзьями, что, когда я через два месяца снова уезжал на фронт, меня кроме Танечки провожал еще и Корней Кондратьевич…

И вот уже после войны, совсем недавно, мне вновь довелось побывать в своей школе.

В коридоре и классах пахло масляной краской, но меня все время преследовал запах госпиталя, в котором перемешались запахи эфира, йодоформа, тления и еще чего-то. Может быть, запах госпиталя давно без остатка выветрился и мерещился мне потому, что я помнил, как стояли в классах койки, ныне вновь уступившие место партам…

В некоторых советских школах установилась традиция: раз в году школа созывает бывших учеников, знакомит с ними старшеклассников. И вот я получил такое приглашение от своей школы.

Это была встреча школьных поколений. И зеле-

ные студенты, и почтенные отцы семейства были учениками одних и тех же учителей, озорничали в одних и тех же углах, делали одни и те же ошибки в диктантах, где каждое слово таило в себе подвох, равно боялись скелета в углу физического кабинета, — когда скелет трогали, он трясся, кивал черепом и стучал костями на проволочках. Все мы, едва перейдя во второй класс, снисходительно смотрели на первоклассников и называли их «амёбами», еще не зная, что это такое.

Петрович в тот день был особенно важен, в крахмальной манишке, с галстуком, пришпиленным для верности какой-то брошкой. Он держался так, будто был виновником всего торжества и ради него, собственно, и пришли все на эту встречу. Одних он и в самом деле узнавал в лицо, перед другими притворялся, что узнаёт их. Разве легко узнать учеников и учениц в этих взрослых людях — в кителях, в модных платьях, с орденами, в шляпах, с золотыми зубами, с сединой в волосах!

В ожидании торжественного вечера повзрослевшие, а то и постаревшие одноклассники прогуливались по коридору, как когда-то на перемене.

Юноши почтительно взирали на моложавого

члена-корреспондента Академии наук; на Героя Советского Союза с преждевременной сединой; на писателя со значком лауреата Сталинской премии; на чемпиона СССР по боксу с приплюснутым носом на добродушном лице и с забинтованной кистью руки; на секретаря обкома в синей гимнастерке и в сапогах; на хорошенькую женщину с пышными каштановыми волосами, сплетенными вокруг головы венком, — ее лицо часто смотрело с афиш кинотеатров, дети и взрослые узнавали ее на улице.

Гости постарше, те, что сидели на партах пятнадцать — двадцать лет назад, шумели даже больше, чем молодежь, может быть потому, что дольше не виделись, труднее узнавали друг друга; у них было больше причин удивляться.

Девушка, которая в школьные годы не имела отношения к искусству, стала известной киноактрисой. А красивая девушка, которая еще в восьмом классе решила стать актрисой и на этом основании подкрашивала брови и ресницы, — сделалась модной портнихой.

И только писатель с золотым значком лауреата не преподнес никакого сюрприза. Еще с седьмого класса восхищенный учитель литературы заставлял его читать вслух свои сочинения.

Принаряженные, празднично взволнованные учителя с гордостью смотрели на своих учеников и смущались, не зная, как же им держаться со столь почтенными людьми…

Нечего и говорить, что самой радостной была для меня встреча с Корнеем Кондратьевичем. Он вновь заставил меня пройтись по коридору, удивляясь, что я нисколько не прихрамываю, а я опять напомнил ему ту задачу из Евтушевского.

— Наследство, помните, делил тогда? До сих пор ответ помню. Старший брат получил двадцать восемь тысяч четыреста восемьдесят рублей, а младший — двадцать четыре тысячи девятьсот двадцать рублей. Мне это наследство даже по ночам снилось.

— Вот вы смеетесь, голубчик, а у вас в самом деле отличная математическая память…

Когда мне потом предоставили слово, я кратко поведал обо всем, что уже известно из этого рассказа.

— Может быть, для моих одноклассников это новость, — начал я, — но с вами говорит второгодник. Две зимы подряд провел я в этой школе в одном и том же классе. Правда, первую зиму — за партой, а вторую — на госпитальной койке. Но все равно оба раза, покидая школу, я чувствовал

себя ее выпускником…

— А где вы теперь учитесь? — задали мне вопрос, когда я все рассказал и собрался сесть на место.

— В университете. На втором курсе физико-математического факультета.

Я не удержался и рассказал, что увлекаюсь астрономией и мечтаю работать в Пулковской обсерватории, когда ее восстановят.

Я хорошо помню Пулковские высоты. В ту зиму они были опутаны колючей проволокой, по ним проходил наш передний край. Резкие тени ложились на сверкающий, режущий глаза снег, и от этого казалось, что проволока вдвое гуще, чем на самом деле.

